

Светлана МИХЕЕВА

КАПЛИН ДОМ

П о в е с т ь

Глава 1. О пространстве

Вниз по горе, убаюканной сонными деревьями, шумно двигалась череда машин, похожая, если смотреть издалека, на разноцветную змею. Притормаживала на мосту. Расходилась, рассыпалась за мостом. Мерцала умиротворенно река.

Карнавальная рептилия ползла в некую точку, скрытую на другом берегу фронтом неаккуратных тополей — дикарей в лохматых шапках. Ветер нежно шевелил их зеленые гривы.

На этом берегу никакого ветра не было, только нависал утренний сырой холодок. Еще не подсох асфальт после ночного дождя, и благоухала из последних сил бедная, плешивая клумба возле деревянного райсовета. И вообще все казалось чище и ярче, чем обычно. Даже мокрое старое дерево, даже пятиэтажки, даже стройка, которая разворачивалась за ограждением из серых бетонных плит, и даже сами эти безрадостные плиты.

У крошечного котлованчика на углу стройки замерла студенческая шантрапа — неугомонные археологи со своим мелким инструментом. В котлованчике возились, осторожно помахивая малярными кистями, двое — кто-то взрослый, лысый, и девчонка в оранжевом платочке. Потом и они вылезли и замерли вместе со всеми, нависнув над ямой. Всеобщее молчание перебивалось тихими замечаниями, кто-то фотографировал.

Все знали, что на сотни метров кругом, на вершине горы и под горой, лежали в земле предметы и останки столь древние, что даже помыслить об этом было странно. Их выкапывали, но появлялись другие, еще и еще, как будто вырастали из каких-то затерянных корней, отпочковывались от какой-то подземной жизни. Словно люди и предметы где-то там умирали сюда, в наш мир.

У Марата был добытый в детстве неолитический наконецник и смуглый черепок с процарапанным орнаментом. Мальчишками они перебегали большой горбатый мост, опасаясь быть пойманными заречными,

левобережными пацанами, ковыряли на чужой территории почву, рассчитывая найти какой-нибудь необыкновенный клад. На левом берегу копали все кому не лень, и все что-нибудь да находили. Марат слышал, например, о голубых камешках, могильной бирюзе, которую раньше стаканами продавали за горой, за вокзалом, на колхозном рынке. Ей приписывали лекарственные и волшебные свойства. Но сам он не находил ее ни разу.

Всему, что жадная ребятня доставала из-под земли, не было будто бы денежной цены — кому нужны эти белые кости, черепки, гнилое железо. Мальчишек захватывало ощущение тайны. Она-то и была их настоящим кладом. словно откапывали они само время, складывали в коробочки и сохраняли в своих секретных местах. Переносили с места на место, забирая его у земли, которая служила времени не могилой, а хранилищем. Черепок мать однажды нашла и выбросила, а наконец-ник сохранился, запрятанный за цветастой обшивкой старого кресла. Марат оставил его на родительской квартире и студентом, приезжая на каникулы или в гости, непременно доставал обувную коробку, где томились в спячке все его мальчишеские ценности, в том числе и тот наконецник.

Ветер наконец оставил в покое тополя на правом берегу и перелетел на левый. Девушка в оранжевой косынке схватилась было за голову, но косынка уже улетела. Марат поймал ее и заспешил, чтобы отдать хозяйке.

Но тут подъехала машина. Вышли из нее серьезные мужчины. Марат огляделся, отыскивая глазами своего научного руководителя. Но архитектора среди подъехавших не было. Значит, это строители. Точно, строители, вон какие хмурые. Строители и археологи часто не ладили: одним надо было строить, другим — копать там, где строят.

Но сейчас нечто привлекло всеобщее внимание. Сгрудившись на краю ямы, и те и другие молча рассматривали что-то внизу. Девушка, потерявшая косынку, стояла на самом краю котлована. Протискиваясь к ней, Марат поскользнулся. Лысый поймал его, не дав свалиться в раскоп.

В раскопе, освобожденный от бремени глинистой плотной земли, лежал большой животный скелет, не собачий, скорее волчий. Под его ребрами покоился шар, неровный мяч с дырой, огромная одинокая картофелина, которую любовно обнимали крупные кости — человеческий череп.

Волнение, охватившее Марата, раскрылось сильным ровным сердцебиением. Ему казалось, что сердце грохочет, словно неизвестные силы решили возвести внутри мягкого маленького человека нечто грандиозное и начали стройку. Ему казалось, этот грохот слышат все. Но вокруг зашумели, очнувшись от удивления, другие люди. Все глядели вниз, где открылось глазам непонятное, какие-то магические техники древних. Наверное, в человеческом теле есть какие-то жёлезы, отвечающие за связь человека с человеком в глубинах времен.

Потянуло с одной стороны гудроном, с другой — волнующим бризом, а клумба, источавшая медуничный тягучий аромат, азартно вмешалась

в общую тему. Марат отошел от раскопа, развернулся и быстрым шагом пошел вниз по горе, вдоль шоссе, к мосту. В его руке трепыхалась неотданная косынка...

Это было давно. В последующие годы ему часто снился сон, в котором менялись детали, но неизбежной оставалась канва: большой черный волк смотрит на него, стоящего под солнцем, а затем уходит. Марату хочется пойти следом. Иногда он даже идет, а то и бежит, как бы принимаемая молчаливое приглашение. Но в какой-то момент останавливается, не переходит границу.

И эта неопределенность, возмутительная нерешительность пробуждала его всякий раз. Он садился на кровати, тер лицо. Вспоминал, что уже видел этот сон. Если была ночь, вставал, брел на кухню. Стоял у окна, таращился в темное глухое пространство очередного города, куда его привела работа. Города разные — сон один. Как и вопрос, что он всякий раз себе, проснувшись, задавал: «Почему я остановился?»

Он бродил по квартире оглушенный, словно что-то потерял, без понятия что. Какие-то надоедливые голоса в его голове бубнили, напоминали, что страшные времена — это не обязательно бездна огня и крови. Это может быть тусклое время мирного опустошения и нерешительности, последнее время, когда для свободы еще рано, для несвободы — уже поздно. И никто не знает, что будет, — как, впрочем, и прошлое никому достоверно не известно. Никто не может объяснить, почему волк держит в своих истлевших лапах человеческий череп, и никто никогда наверняка не узнает. Это безнадежно, как и вся жизнь. Все пусто.

Но вдруг выплывало как легкое облако воспоминание, как полынть детства обнимает его своими теплыми горькими лапами, окуливает мягким голосом своего дыма. А он сидит в засаде, ожидая возможности выскочить и припустить по мосту на свою землю. Левобережные пацаны будут улюлюкать вслед, бросать камни, но никогда не догонят. Вдохновение этих стихий, этих голосов зиждилось на блаженной независимости сокровенных и радостных воспоминаний — на памяти, которую человек носит с собой как свою главную достопримечательность и талисман. И Марат легко, радостно верил таким голосам, с легким сердцем уходя в долины сновидений на остаток ночи. Теплые холмы, полные неопознанных тайн, встречали его там.

Города, где он ненадолго оседал, громоздились обычно возле рек, больших и маленьких, наседали на живописные равнины. Он проектировал архитектурные ансамбли на окраинах. На выходе получалась огромная унылая геометрия, бессовестно пожирающая пространство, как древние боги — своих детей. Это ужасало. Он изучал старину, устоявшую под натиском человечества, стараясь касаться ее бережными руками и внимательным умом, — дома́ ему не отвечали, погрузившись в свою задумчивость. Они как будто не понимали друг друга.

Когда Марат, послонявшись по миру, вернулся домой, в свой город, тот встретил его страшным шумом. От ветра в этот день выли сосны и трещали лиственницы. Буянили, гремели крыши, то ли приветствуя, то ли порицая за долгое отсутствие. В первую же ночь ему снова приснился сон. В нем волк не ушел, а притрусил к человеку и сел рядом, у ног, как собака.

Глава 2. О городе

Кто только не писал уже об этом злосчастном, но все же и по сей день помаленьку процветающем, городе. Благодаря трудолюбию писателей мы знаем о нем все. Мы представляем себе улицы по обоим берегам крупной реки, наполненные ржавой листвой или мерзлой водой, которую дворники лениво ковыряют железным инструментом.

Летом над газонами жужжат усмирители травы — вооруженные косилками киргизы. Трава сопротивляется изо всех сил, ибо ее гонят с земли, теснят в ее же среде. Предсмертное шуршание сланообразных лопухов и без того вечно дрожащей лебеды, прощальный шепот пастушьей сумки растекаются густым зеленым запахом в раскаленном воздухе. Воздух к вечеру остывает и становится прозрачнее.

Ходят люди, вдыхают зеленый запах. Он их тревожит.

За пределами газона земля кончается, начинается брутальная твердь асфальта. Лучший — тот, что давно истрескался и тем красив, пропуская на волю растительность. Он соотносится с городскими закоулками, где не приложила рук ни одна городская служба, которые обошел своим незорким взглядом равнодушный архитектурный чиновник. Тишина и мощь памяти здесь пересекаются с действием жизненной энергии, порождая благотворное лекарство для унылых душ. Если они, конечно, еще способны выздороветь. В углах, где нам обычно чудится паутина погибания, в заглохших садах, в плохо освещенных частных дворах празднует свой праздник несокрушимая витальность.

Жизнь в этих углах на протяжении лет меняется лишь по форме и степени проявленности. Главное, что она есть, — будь то бездомный человек Маня Иванович, запаливший костерок в заколоченном брошенном доме, будь то щенок, отбившийся от мамки. Или же иванчай, сокрушительно прущий в бытие, забивающее собой все вокруг. Или же девочка, запрыгивающая на крыльцо, хрипящее от нагрузки как астматик.

«Настька!» — орет из окна ее чудная мать, тридцатилетняя богатырша Дарья. Настька обещала сходить на колонку и привезти воды, чтобы мать постирала шторы, готовясь вывесить их в новом жилище, — семейство перебиралось в квартиру, оставляя дом городским властям, в обмен. «Что-то вырастет на месте нашего дома...» — задумчиво говорила Дарья дочери, понимая, что дом снесут и выстроят нечто. А Настьку, которой исполнилось шесть и она уже все-все понимала, подмывало задать матери вопрос: кто будет поливать посев — ну тот, из которого что-то должно вырасти? Они-то ведь уедут.

Настька уже видела, обследовала их новый дом — чудовищный пророк, который, конечно же, кто-то поливал. Ей нравилась и долгая дорога туда, на новое место, и нарядный вид, и лифт, который легонько вздыхал, пеня на ежедневные труды, а потом бесшумно полз вверх или вниз. А под балконом их новой квартиры, далеко внизу, суетятся люди, похожие на рассыпанные по столу крошки. Вот прилетят голуби и склюют... Вырастил же кто-то такой огромный дом!

Дарье новое жилье тоже нравится — хотя, конечно, далековато, в получасе езды от центра. Дома торчали почти на выселках, на месте одной из снесенных нахаловок. Но зато дом их — новье. Никого до них в квартире еще не живало, и чужим духом не пахнет. Дарья уважала все новое. В нем она черпала прагматическую надежду на какое-то складное, изобильное будущее. В нем у нее было все, чего пожелает душа. И даже новый муж, а иногда даже новая дочь. Настькин вечно сопливый и растрепанный образ менялся в ее воображении на образ аккуратной девочки с темными локонами. Правда, всякий раз воображение заводило в тупик: девочка оказывалась пыльной нарядной куклой в большом магазине, которую никто не захотел или не смог купить... Дарья отмахивалась от морока и звала тогда нынешнюю дочь, Настьку, чтобы утереть ей нос или расчесать жиденькие, морковного цвета пряди. Или шла готовить ужин реальному мужу Толику.

Расчесываемая Настька в такие минуты замирала и наслаждалась материнским вниманием, которое доставалось ей редко. Но не потому, что Дарья была жестока или жестка, а потому, что в нее когда-то заплыло и все никак не выплывало покато, как серое вялое облако, безразличие особого сорта, которое поселяется обычно в людях с энергией, но без применения. На своем маленьком участке жизни Дарья чувствовала, хоть ты тресни, что ей чего-то недодали, что поместили ее куда-то не туда. Заставили заниматься чем-то не тем. Жить не там, где она хочет, а в деревяшке-развалюшке с обломанной резьбой на окнах, чтоб она пропала, даже не покрасишь толком, красоты не наведешь. Расчесывала Настькины волосенки и думала: что-то не то, не то...

И когда они переехали, Дарья была если не счастлива, то пока что удовлетворена. И проспала без просыпу ночь и день, так что Толик перепугался. И потом всю неделю наводила в квартире красоту, выходила на балкон, каталась без особой надобности в лифте, осматривалась...

В другой части города (но не так уж и далеко, потому что город, если смотреть на карту, компактный, даже, кажется, какой-то круглый) такие же дома таращатся в пространство. Выбивается один, глядящий окошками куда-то вбок от основной линии, словно его построили, что-то не рассчитав, или он оказался бунтарем. В одной из его квартир существуют вполне благополучно Леонид Абрикосов и его мама, тоже переселенцы из ветхой «деревяшки» исторического центра.

Небо над этим домом часто бывает глупое и в завитках, как голова соседки снизу Нины Петровны, а бывает перистое, легкое облачное, как мелированная головка соседки сверху Элеоноры, которой длинные

волосы мешают спать, а длинные ноги — ходить, поэтому ее обычно водят под руку разные мужчины. Один из них, кстати, и поселил ее в новом доме, на пятом этаже.

С абрикосовского балкона видно, как старые серые многоэтажки уныло рвут небесную живую ткань, зато новенькие, нарядные их подружки торчат пузырячато, одинаково сияя и под прямым солнцем, и в непогоду. Иногда кто-то случайно падает с них с криком «Банзай!», а чаще — молча или с банальным «А-а-а!», производным абсолютного отчаяния. Как, например, сам Леня Абрикосов, когда что-то нашло на него, замечтался, может, о поцелуях Элеоноры.

Лене здесь нравилось. Он тоже, как и Дарья, утомился возить воду с колонки в алюминиевых бидонах, напоминая себе то узника, то блокадника. Тележка с бидонами противно поскрипывала. А какое унижение переходить проезжую часть, когда перед пешеходным переходом останавливается новенькая машинка, содержащая какую-нибудь приятную девушку! Леня страдал, но воду возил, ибо без воды человек засыхает. Немудрено, что он рвался к свободе, в том числе и коммунальной.

Впрочем, судьба посмеялась над ним: в доме жила Элеонора. Леня мог бы сказать ей о своих чувствах или хотя бы прокричать, уже летя, что-то ясное: мол, люблю тебя, Элеонора! Но то ли расстояния от второго этажа до земли не хватило для выражения высоких чувств, то ли толстовская борода, которая была для него символом свободы (хотя и мешала ему жевать, а иногда и дышать), в полете проявила себя как отменный предатель, заткнув ему рот. Зачем Леня ее отрастил? Он хотел стать лучше. Он хотел быть свободным. Элеонора этого, впрочем, никогда не понимала. Недаром она с честным лицом заявила полицейским, приехавшим на вызов соседки Нины Петровны, мимо окна которой и пролетел некий хулиган, что Леня Абрикосов давно сошел с ума.

— Вы его бороду видели? — проворковала она симпатичному лейтенанту, крутя пальцем у виска.

...А что? может быть, и сошел. Мало ли кто здесь сходит с ума. Все к тому, кажется, располагает, думал старший лейтенант, читая на мониторе Лениного компьютера надпись-заставку: «Я страстно хочу жить в полностью свободном обществе» (Пери Фридман, создатель мира на платформе)».

Старший лейтенант казался приятным парнем, аккуратным и курносым, быстро соображал, был восприимчив. Перед тем как подняться в квартиру, он потоптался у подъезда, ожидая, пока скорая заберет прыгуна, который хоть и сильно ушибся, но ничего не сломал, кроме кустов. Снизу лейтенант оглядел монструозное сооружение: цитадель в восемнадцать этажей, глухая стена с изображением гигантского стрижа, влево и вправо — подъезды, где-то внутри — темный и сырой двор, уставленный частным автотранспортом. Дом смотрел куда-то вбок.

Лейтенант взглянул в ту же сторону. В той стороне, за рекой, жил своей жизнью старый город. В это время одурелое солнце вдруг моргнуло из туч. И словно бездна приоткрыла свой лукавый жестокий глазик.

Лейтенант вдруг покрылся мурашками, ощущая неуютность всякого человеческого существования — вообще и в принципе.

Старший лейтенант Сережа вырос на другом берегу, недалеко от старого моста, в крепком деревянном доме, стоявшем в ряду таких же крепышей, украшенных по произволу времени уже порушенной, но некогда знатной резьбой. Внутри дома были не очень ухоженные. Пятилетним, открывая утром глаза, Сережа обнаруживал перед собой всегда одно и то же — дыру в оштукатуренной стене. И сквозь нее, такую загадочную, будто бы что-то особенное было видно, а будто бы — и не видно было ничего. За ней — прошлое время, за ней ходят все те, к кому они с бабулей ездят иногда на кладбище, и там все туманно, и ощущается таинственным. И как будто бы по ту сторону стены все еще бегают лошади, в повозках и под седлом.

— Утекло в стены все, что было, что творилось. Так туда и дорога. Замазать бы дыру... — Бабуля садилась к нему на кровать и смотрела туда же, на облупившуюся штукатурку.

Сережа наблюдал, как бабуля буровит взглядом стену, по которой расползались трещины — черные вены времени. Что ей там виделось? То ли сестры на лодке от нее уплывают, то ли брат машет ей с борта огромного военного корабля — как на старой коричневой фотокарточке.

— Ну, пойдем, Сереженька, на колесе тебя покатаем, — говорила бабуля, и они шли в парк, за пару кварталов, где вертелось нарядное колесо-аттракцион.

Сережа любил колесо. А после колеса бабуля говорила:

— Боженька все видит. Ну-тка, зайдем на чуть, — и после веселых парковых дорожек резко вталкивала его в душный сумрак едва живой церкви на горе.

Там мальчик мерз в темном белом уголке, пока бабуля здоровалась с невыразительными лицами на мрачных картинах и зажигала до бессмысленности тонюсенькие свечки. Она бормотала и с ожиданием смотрела на темные образа в потемневшей от времени комнате, словно лица ей что-то обещали.

Потом Сережа с бабулей почти скатывались с длинной и крутой лестницы, бетонные ступеньки которой рассыпались в пыль, и шли домой обедать. Открывали тяжелую дверь, и славный дом обнимал их всеми запахами, звуками, скрипел приветственно. Сереже нравилось, как дом здороваается с бабулей, а она — с домом, поглаживая, успокаивая, иногда увещевая, если, например, подводила электропроводка.

Потом бабуля умерла, и все было кончено. Дом окончательно зарос, как паутиною, проводами, дверь расхлябалась и скрипела, словно задыхалась, будто ей не хватало воздуха. Воздуха не хватало всему дому.

Потом соседи начали съезжать. Потом и мамуля, которая измучилась в этом уходящем пространстве (уже как будто и не своем, но вроде еще и не чужом), согласилась на квартиру в новом доме, сгребла тощие пожитки, тощего Сережиного отца — и они переехали на соседний берег в дом, где ихнего было тоже две комнаты и еще кухня с очень белым

потолком и ленивыми тараканами. Да, там было нормально, но как-то по-чужому.

Квартиру им предоставили в общих чертах такую же, как у Абрикосовых, примерно все было в ней так же. Примерно такая же беспамятность, коробочная жизнь. И впрямь, если присмотреться, недолго же и спятить. И полететь. И все было, в общем, понятно. Старший лейтенант смотрел, задрав голову вверх, на монструозного стрижа. Он представлял, что чудовищная птица оживает темными ночами и летает над микро-районом, пугая самолеты и летучих мышей.

Потом затрещала рация, и ломкий голос с той стороны пригласил полицию на другое, огненное, происшествие в исторический центр, где нужно было обеспечить общественный порядок. Лейтенант Сережа тогда дрогнул — адресочек был ему хорошо знаком.

Увлекательный, страшный пожар, надо сказать, собрал изрядно народу. Население любит со стороны наблюдать различные катаклизмы, в том числе и пожары. Они представляют для тоскующей массы зрелище занимательное и поучительное. Они сдабривают жижицу буден остротой трагедии. Они служат и глубоким утешением: дорожи своим — видишь, у людей бывает еще хуже.

Когда подъехала полицейская машина, огненный цирк уже отпрыгал свое, покорившись пожарным. Люди толпились среди лысых деревьев. Красно-желтое пламя едва трепыхалось как бы в продолжение рано увядшей осени. Пошел снег.

Пожарные бегали со своими шлангами, карабкались по лестнице, немножко поливали и соседние здания. У некоторых из этих домов были собственные имена: например, горящий назывался домом Голованова.

Старший лейтенант зажмурился, а потом резко открыл глаза. Было странно. Словно у его жизни отожгли кусочек.

Он провел рукой по лицу, как будто утирая слезу — так, во всяком случае, показалось со стороны его напарнику. А потом вылез из машины и со всей серьезностью приступил к обязанностям.

Глава 3. О доме

Каплин дом рос в паре кварталов от набережной. Он был черным — от старости бревен. Только в провинции сохраняется такая гордая древесная чернота погибания, тления, разрушающейся, но, по закону сохранения энергии, не проходящей, естественной теплоты.

Каплин дом относился к категории домов бессонных, ночью он вздыхал и жмурился тусклыми глазами в метель или в летнюю полночь. И Каплину дому место было в этой полночи, одинокому, высотой в два этажа. Он торчал посреди жухлой травы и махал деревянными ставнями, резными, но резьбу обьяло время. Время, как коза растительность, обжевывает деревьяшки.

Каплин дом был почти необитаем. Днем казалось, что он необитаем вовсе. Потому что все окна в нем молчали, выставляя напоказ стыдную

наготу пустого пространства. Казалось, сунь руку в дырявое окно — и тебя затянет. Потому что известно: все дома на свете мечтают быть обитаемыми, поселив в себя, хоть бы насильно, какого-нибудь затрапезного человечешку. Одичавшие дома становятся опасны, они затаивают обиду, они дают приют скверне и злу. И если в разоренном брюхе такого дома находят тело, — а это совсем не редкость, — то призрак навечно поселится в покинутости, в развалинах или на пепелище — именно через огонь уходили многие дома и по этой улице, и по другим в округе. Вот не так давно сгорел один — Головановский, в конце улицы.

Однако вечером в Каплином доме, в одном его углу, загорался свет — тусклый, в первом этаже. В трех окнах, обметанных снаружи осенним мусором и ледяной корочкой, а изнутри — старой серой ватой в прожилках новогоднего «дождя». Ближе к ночи из-под отвисших и не сходящихся до конца, похожих на слоновьи уши ставен сияла трогательная живая полоска, а свет под низким окном стлался по давно не метеным листьям. Листья приносило сюда ото всех окрестных деревьев, их натрясали тополя и сирени, будто хотели закутать, укрыть дом, похоронить его со всей его дрожащей жизнью до весны. А может, и навсегда. А может — скрыть, уберечь от той участи, которая его ждала: гибель, огонь, прах. Потом поверх листьев ложился тяжелый снег.

Жилец был под стать дому, бессонный. Полоска из-под ставен исчезла в глухое время, почти перед рассветом. И чего сидел, что делал?..

А каково ему было выходить ночью из теплой квартирki и оказываться в длинном, высоком сыром коридоре, безлюдном уже давным-давно? Какие-то короба и лари, привернутые к стенам великанскими шурупами или просто беспорядочно теснящиеся возле прикрытых дверей, какие-то ошметки жизни — тряпье, гнутые миски... Жилец запинался об этот хлам, сквозь зубы ругался. Но пока еще не потеснил хлам, не расчистил проход в жилище. Не по лени — по другой, самому себе необъяснимой причине. Вроде как это все — хлам, лари, миски — принадлежало дому, а он, чужак, не смел пока все это трогать. До поры.

Наверх, на второй этаж, вела лестница, узкая, темная, скрипевшая сама по себе — старые дома говорливы. От этой лестницы, ведущей в темноту, многое можно было бы узнать — если бы люди умели читать по скрипу, по сухому изъеденному дереву, по десяткам слоев краски на рамах. Слои краски — это вся история дома, как история и возраст дерева — его годовые кольца. Жилец иногда задумчиво отколупывал кусочек от подоконника, рассматривал. Или тянул за обнажившуюся дранку на стене, гадая, когда же обвалится остальная штукатурка. Или же, провоцируя аварию, прыгал на лестничном гнилье. Ступени хрустели, но держали. Жилец хватался за огромные гвозди, вбитые в потолочную балку на общей — дом долгое время состоял в разряде коммуналок — кухне. Гвозди не выскакивали, упорствовали.

Из коридорного окна второго этажа было видно, как напротив, на другой стороне улицы, удивлялся на пронзительную невесомость предзимнего пространства Думочкин дом, одноэтажный, широкий

и тоже крепкий. Думочкин дом был заселен по самую маковку — на крыше, например, во множестве ютились голуби. Бревна Думочкиного дома хозяева его двух квартир — левой и правой — зашили в современный синий футляр, и его истинную природу исторической деревяшки выдавали только ставни, правда толсто покрашенные. Флюгер, старый жестяной конек не поймешь каких лет, выдавал возраст. Очевидно, конек представлял ценность, потому что у левой хозяйки, на чьей половине крыши он крутился, хотели купить его то одни люди, то другие.

Конек и впрямь был хорош: несуетлив, надежно вертелся, тонко поскрипывал. И в непогоду это поскрипывание придавало остойчивости беспокойной жизни. И муж правой хозяйки очень любил выйти тогда на крыльцо и слушать. У левой хозяйки мужа пока еще не было. И она жила одиноко, а приветствовал ее по вечерам с работы ободранный боевой кот, прибившийся к Думочкиному дому, будучи брошен прежними хозяевами. Он пришел со стороны Каплина дома, дававшего ему временный приют.

Так что у домов Каплина и Думочкина имелось общее — ну вот хотя бы этот кот, забияка тощего неприглядного экстерьера, существо непочтительное и вечно голодное. Что-то было и еще — вокруг, — что соединяло их, сближало и выделяло на этой улице. Что-то еще, определенно, было.

Вдоль реки, которая делила город надвое, колыхалось по обоим берегам черное кружево кустарника. Он всю осень рыдал, и по воде плыли яркие кустарниковы рыдания. Раньше дерзкие питомцы улиц, грязные, как будто бы ничейные мальчишки-сорванцы сидели у костров на берегах, прогульщики уроков. Они тоскливо перевертывали головешки, глядя на утекающий по реке листопад. За ними, пока родители были на работе, приглядывал небесный свет. Где-то за городом, после микрорайонов и предместий, на все четыре стороны тогда лежала сырым черным кислым куском пустая осенняя земля.

Мальчишки, конечно, ждали снега. Когда декабрь начинал гротхотать замерзшим бельем во дворах, они точили коньки и выходили, рискуя жизнью, вопреки запретам родителей, на слабый лед. Теперь-то, думал Марат, никто не жжет костров на берегу. А мальчишки-сорванцы, кажется, и вовсе перевелись. Жилец Каплина дома думал об этом с сожалением. Сожалел, что ли, о себе тогдашнем.

Сожаления простирались внутрь собственной жизни, где с некоторых пор гнездились тревожное недоумение: как он мог быть тем, кем он был еще три месяца назад? Какая слепота накрывала его? Кто надел ему на голову мешок? Кто залепил глаза и уши? Все закончилось теперь, но казалось, что жизнь обрабатывает его, как деревянное изделие, грубой наждачной бумагой — чтобы снять прошлое, лишнее, иллюзии и заблуждения.

Три месяца назад они с женой вернулись в домашний крах. В самолете было душно. И, несмотря на две недели ничегонеделания и морских

прогулок, в самолете он почувствовал, как страшно устал. В самолете он понял, что страшно устал *вообще*. Жизнь его проходила под диктатурой календаря, каких-то требований, необходимостей без конца. Когда он вылез из такси и в лицо дунул холодный влажный родной ветер, он подумал: этому нет конца.

Дома он снял пиджак и сел за стол в кухне. Жена прицепила свое пальтишко на ручку шкафа, выпила воды и молча ушла в спальню. Он не видел, что она легла, и позвал. А она молча перевернулась на бок и замерла. «Спит», — подумал он. И пошел зачем-то по квартире, натываясь на разные вещи.

Квартира была полна вещами — дорогими, никчемными, данью привычке. Синяя вазочка, красная вазочка. Тряпки, стекло, мебель. Синяя вазочка замерла в воздухе и рассыпалась на крупные осколки, так что он убедился, что внутри она белая и неприятно зернистая. Он провел по сколотому краю пальцем — чтобы еще больше ощутить эту неприятность. Даже зубы у него заломило. И порезался. Кровь капнула на ковер.

— Марик? — Жена из спальни позвала тревожно. Она будто услышала эту каплю, этот беспорядок.

— Ваза разбилась.

— Ну, котик! Если ты думаешь, что можно тут все громить, громи, пожалуйста. Только учти, Марат, что это и мои вещи тоже.

Она возмущалась, включила нитье, но он уже ушел в ванную, чтобы не слушать.

У них давно разладилось.

К вечеру улицу заволокло резко пахнувшей сыростью. Он вдыхал ее, стоя на балконе, куда вышел покурить. Прель благоухала внизу, тополя казались гигантскими морскими губками, пропитанными, заполненными этим запахом. В этом году осень гасла стремительно. С ней, казалось, отмирают остаточные связи.

Когда Марат задумывался о природе их с Еленой отношений, то позволял себе одну вольность — допустить, что Лена любит его. И всегда боялся спросить об этом напрямую — это было бы странно: они были успешны, их маленькая семья считалась очень благополучной. Он, может, и спросил бы — если бы хоть на минуту мог представить такую картину: она кидается к нему и, счастливо улыбаясь, говорит: «Ты единственный, кого я любила, люблю и буду любить!» Ага, жди. Она скажет так, поджав губки, и ее острое лицо еще больше заострится: котик, мы же договаривались, у нас взаимовыгодное партнерство; ну конечно, я тебя люблю; а теперь давай подумаем, куда нам деть эти старые фото, старые книги, твою старую гитару, держать их нецелесообразно, микробы; ты к ним привязан? — ну это же грязь; хорошо, давай подумаем, как обеспечить чистоту...

«Хорошо, давай подумаем. Лена, мне больно оттого, что ты не дышишь со мной одним воздухом, оттого, что земля, по которой ты ходишь, — не та же, по которой хожу я. И мы, глядя в одну сторону, на одно расстояние, видим разные вещи. Я ненавижу твою выгоду,

Лена. Я хочу быть свободным. И любить тебя, ни с чем не соглашаясь, а только лишь с...»

Он часто воображал этот разговор с женой. Но всегда терялся, запинался. Не мог продолжить даже в своих фантазиях. Ему казалось, что его искренняя речь покажется ей смешной. От этого в нем возрастала та обаятельная ненависть, которая мучит еще не полностью перегоревших, но расстающихся любовников. Ненависть вырождалась в тоскливое чувство несвободы.

Купить бы жалобную книгу домой, повесить в кухне на гвоздике и писать там, записывать для нее, — чтобы она читала, чтобы понимала, как в нем все меняется и как становится непоправимо. Подходит время, когда он будет готов отказаться от нее. Невозможно больше, ложась в кровать, засыпать с кроватью, с подушкой, одеялом. Лена, ты дрянная, пустая, бездушная, иногда думал он, но только в сердцах. Любит некого. А ведь они женаты всего ничего, с тех пор, как он вернулся.

«Может, она любит кого-то еще? Любит ли она кого-то другого? Не может же человек никого не любить?» — думал он, стоя на балконе с сигаретой.

Но ветер сострадательно подвывал его догадке: она не любит никого и никого не полюбит, она — урод, и как, мужик, тебя только угораздило...

Утром Лена нервно и требовательно уговаривала его. Эта форма их общения, которую жена выбрала, — тоскливый, но упорный, гипнотизирующий уговор, — действовала для всех случаев, от покупки хлеба до их дел в общем архитектурном бизнесе (они на двоих держали небольшое бюро, на почве чего и развились их отношения). Речь шла о поездке на дачу к его родителям: он хотел ехать, она — нет.

Елена тянула, выматывала. Обычно он сдавался. Поначалу — с боем, потом, поняв несоразмерность усилий, — без боя, одномоментно. И даже стал находить в этом особое, болезненное удовольствие. Она часто говорила, что он удобный партнер. Прямо оскорбление какое-то, усмехнулся про себя Марат.

Поначалу он пытался сопротивляться — и делал все, чтобы развеселить ее, размягчить ее пугающую прагматичность. Он приходил с газетными кулками, из которых букетами торчали огромные красные леденцы на пластмассовых палочках. Она взвивалась: «Время леденцов прошло, дружок! Приличные люди не дарят женам леденцы!» Он улыбался в таких случаях, говорил: «Ну извини». Потом он приносил ей котят, однажды — попугая, в другой раз — щенка. Точно так же он таскал животных домой в детстве. Мать отправляла его обратно, запрещая даже на порог ступить. Она была медик и доставала всех излишней чистоплотностью. Лена тоже любила чистоту, но по другой причине — она брезговала. Наверное, поэтому, протестуя, он тащил в дом блохастое и гадящее... А потом он устал искать решение и просто перешел в режим соглашательства.

В то утро Лена не хотела ехать к его родителям, она физически страдала от присутствия старого, угасающего — вещей, людей. Родители

Марата были старые и жили на старой даче. Все преходящее, полуживое, все уже неясное, неочевидное вызывало у Лены панику. Она совершенно не могла есть или даже пить в присутствии стариков. Может, так ее существо заранее протестовало против своей подразумеваемой гибели? Впрочем, неприятны ей были и младенческие сопли, — наверное, поэтому у них все еще не было детей.

Марату казалось, что с некоторых пор он тоже вызывал у нее легкое — легче, конечно, чем старики и дети, — чувство брезгливости. Она морщилась, когда он кашлял, психовала, если оставлял ношенные носки на коврик у кровати. Она их поднимала двумя пальчиками и демонстративно несла через всю квартиру, чтобы в коридоре у дверного коврика — раз! — и разжать пальчики.

Она старалась, конечно, сделать его безопасным, дезинфицировать, растворить, обезличить. У нее на все была своя особая логика. «Особая, несопоставимая с жизнью, логика маньяка», — думал он. Она маньячка. На самом деле он давно так думал. Но, и думая так, оставался: вдруг все переменится.

— Не поедем... — тянула Лена. У нее, как всегда, была сотня отговорок. Не переменится. Никогда.

Неожиданно для самого себя, в порыве какого-то прояснения, Марат прошел в ванную, ополоснул лицо. Потом молча и размеренно, под ехидные упреки жены, собрал кое-какие вещи и покинул их общую квартиру.

— Вали, вали! — прокричала в лестничный пролет ошарашенная Елена.

Ничто, никакие мысли, не мешали его плавному исходу. Спокойствие накрыло его своим нежным одеялом, и он будто провалился в причудливое сновидение: спускался в лифте (ему было хорошо, что Елена кричала где-то там, за стеной, мимо него), аккуратно загрузил багажник (он видел, что она растерянно стоит у окна, не понимая происходящего), медленно ехал по городу, где все было приветливым, даже горевшие красным светофоры.

Ему, по счастью, было куда идти. Хотя это и неудобно — уходить туда, куда ушел он: в буераки семейной истории, где воздух тяжел, густ, поскольку содержит запахи лет за сто, в дом, больше похожий на коробку с выскакивающим чертиком, — родственница, прабабка Каплина, двоюродная и незнакомая, давным-давно покойная, оставила наследство в истончающейся вселенной деревянного города.

Как-то раз, еще до женитьбы, дом ему приснился — они с волком взошли на его черное крыльцо. В реальности Марат навещал дом лишь однажды, хотя жили они с Еленой не так уж и далеко. Внутри не заходил, просто осмотрел его, как посторонний архитектор. Лена считала, что рухлядь должна идти под снос, а на участке можно отстроиться заново.

Теперь вот он стоит на крыльце. В Милане находится самая древняя деревянная дверь в мире — по крайней мере, так считается. И то, что он чувствовал сейчас, смахивало на тот благоговейный ужас, который он

испытал перед миланской дверью: эта тоже знала обо всем, что сотню с лишним лет происходило внутри, она предотвращала проникновения, не выпускала тайное.

Ключ охотно повернулся в замке. Дом дохнул на улицу затхлым теплом.

Глава 4. Маня Иванович

Маня Иванович приковылял к крылечку Каплина дома от самой больницы. Это километров пять. Учитывая, что у него теперь не было пальцев на ногах — двух на одной и трех на другой, подобный переход доставил мало радости. Хотя вообще-то преодолевать расстояния он любил и даже когда-то жил вдали от города, в поселке, где родился. Но это было в незапамятные времена.

Под воздействием некой юношеской неопределенной мечты он давно перебрался в город, успел завести и подрастерять в нем семейство и надежды, а взамен обрел неодолимую склонность к Бахусу и жизненный опыт странствования и пребывания. Он по очереди пребывал то в тигрятнике, пахнущем резко и безнадежно, то под каким-нибудь забором или в заброшенном строении, то — после заморозков и зимою — в больнице. Из больницы он сейчас и явился. И в этот раз — без пальцев на ногах.

— Проспал пальцы! — горестно шептал Маня Иванович, лежа на койке и рассматривая желтоватые и красные мясные потеки на бинтах. Соседи поворачивали головы, матерились легонько, но проблему понимали — уснешь, а потом можно и не проснуться вовсе. Все они были люди бродячие, «колодезные», пригревшиеся в городских коллекторах, а некоторые, посерьезнее, — «помоечные», проживавшие на свалке за городом. Так что все Маню Ивановича понимали. Но подбадривать его считали делом лишним. Да и то: разве ж это горе? Что ему с этих пальцев? Тем более что большие-то пока на месте, ходить можно. Вот если бы ногу по колено, как чаще всего в таких случаях и бывало, — тогда другое дело. Или, не дай бог, руку. Вот это уж совсем не дай бог!

И Маня Иванович скоро сам почти поверил, что ножные пальцы, никчemuшные, кривые, потеря смешная и невеликая. Он бы и целиком, всей душой принял это мнение — если бы речь шла не о его личных, Маниных, пальцах. Про посторонние он подумал бы сразу именно так, рассудительно: мол, чепуха. В определенный час по коридору больницы обычно шел кособой мужик с пластиковым мешком. Все знали, что у него в мешке. Однажды из него торчала нога ступнею кверху.

— Ноха! — кричал по-южному мужик, видя интерес пациентов, гулявших в больничном коридоре. Кричал мужик, словно на базаре, заунывно и безжалостно. Будто ноги — это рыбины какие. Ну да, похоже, хмыкал довольный сравнением Маня Иванович: сизые, раздутые, блестящие, отмороженные и отъятые, чьи-то, но теперь без хозяина, ноги. Вот уж неприятная бездомность. Вот уж точно, сироты.

Обездоленные конечности аккуратно упаковывали, увозили куда-то на «пазике», больные глядели на него в окошко. И Маня о чужих ногах не сильно переживал — о посторонних потерях с легкостью рассуждает человек и забывает сразу. А вот когда его чепуховые пальцы отняли, долго провожал глазами «пазик», предположительно их увозивший.

Воспоминания о потере одолевали Маню Ивановича, пока он ковылял по полуденной провинции, солнечной, но холодной. В ожоговом центре при выписке дали ему, по благотворительной программе, хороший паек и запасное нижнее белье, веселые, в ромбик, специальные носки для калек, перевязочный материал на всякий случай. Но даже забота его не радовала. Ведь часть его тела где-то сожгли, утилизировали, так сказать. Пальцы рóдные пропали — а он идет, человек беспальный, по паспорту Мэлс Иванович, а по правде — неизвестно кто. И в любое время с открытой всем космическим ветрам площадки, которая называется глупой судьбой, может снести этого Мэлса Ивановича бумажного, паспортного за милый мой. И будет его потрепанное тельце в итоге лежать под серым шершавым бетоном. И хорошо, если имя на плите напишут. Могут и просто зарыть без следа. И зарюют ведь, подлецы. А душа его после этого рухнет в черный водоворот и погаснет. Ведь что же сделал хорошего Маня в жизни? Да, в общем-то, и ничего. Теперь себя по частям теряет. И кто подлец в этом случае?..

В скорбную закорючку сложились на секунду его губы. Расправив закорючку, Маня Иванович поднялся на крылечко и дернул дверь. Она поддалась. Дохнуло изнутри теплым запахом гибнущего и остывающего. Не зайти ли?

Хотя Маня Иванович временами критиковал себя и полагал, что ничего хорошего не заслуживает, его неудержимо влекла жизнь. Да и то, был он еще нестарый человек, лет пятидесяти пяти. А живому, нестарому нужно согреться.

Вообще-то он шел до своих. Свои жили на металлосвалке, где в процессе жизни и работали. Была у них хорошая теплая землянка человека на четыре. Алкоголик Дягилев обещал устроить на зимовку. Но сколько еще шагать? Он и трети не прошел. Это ведь еще из города выйти надо, да по трассе сколько пилить. Машина его не подберет, денег у него нету. Автобусы, развозящие дачников, по зиме почти не ходят. Значит, надо зайти, отогреться, а то и переночевать.

Отошел он к кустам оправиться, перед тем как зайти, перед отдыхом, а заодно осмотреть вокруг строение, казалось бы, нежилое. Маня Иванович вырос в серьезном деревенском доме. И теперь он разглядывал бревна, прицениваясь: сгодились бы они, если разобрать и другое построить. Материал удовлетворил. И, похлопав по бревну, вернулся Маня на крыльцо. Заметил закат, яблочный — сладкий и красный, значит, будет ветрено завтра. Постеснявшись ради приличия еще полминутки, приотворил дверь и вскользнул, оказавшись у лестницы широкой и шумной. Он на ступеньку беспалой ногой — а лестница поет. Он перильце хватать — а перильце мелодично скрипит. Маня Иванович, не ночевавший разве что в ласточкином гнезде, смутился.

— Едрить твой ангидрид! Вот балясина торчмя торчит, — бормотал он, обводя взором опасные места.

Дом говорил ему что-то на своем языке. И Маня Иванович соображал, где болит у дома: где сырость, где и отчего встал горбом пол, где повело стену. Дом жаловался и жаловался. И Маня Иванович плюнул — все болявки не пересчитаешь — и стал искать помещение для пребывания. Тем более что отпиленные пальцы заныли, зачесались.

— Привидения, фантомасы, едрена вошь!.. — формулировал Маня Иванович.

Привидения пальцев поплыли перед глазами — виноградины, кривые колбаски. Маня Иванович достал бутылочку, которая предназначалась для обработки ран, понюхал — спиртом не пахнет. Вздыхнул, потом притулился к чему-то удобному, так и уснул.

Жилец Каплина дома скоро вернулся. Магазин, куда он ходил, был не сильно-то далеко, кварталах в трех, но стемнело в момент, а свет в доме не горел.

Ловко, не запнувшись даже, проник жилец в свою комнату, открыл ее ключом и нажал выключатель. Каждый вечер он переживал, что свет не включится, — проводку надо было срочно менять.

На столе у окна лежал большой белый конверт с печатью учреждения, дожидался внимания. Пока чайник закипал, Марат разорвал конверт, неаккуратно, торопясь. Он волновался. Бумаги, которые извлек, развернул и расстелил на столе, как скатерть. Это оказались чертежи — ксерокопии чего-то старого, в черных отпечатках сгибов, измочаленных краев. Он вздохнул облегченно — да, то, что надо! Повисел еще над столом, потом взял один лист, в ящике стола нащупал фонарик и вышел в темень коридора.

Дверь его комнаты, оставленная открытой, выпускала свет, растекавшийся густо, медово по рухляди, по ступенькам, по ошметкам дермантина, которые колыхались от сквозняков на других дверях. Многие не закрывались до конца, разбухнув от сырости влажного лета и промозглой осени, — пока единственный жилец не начал топить сохранившиеся на первом этаже голландки, чтобы просушить внутренности здания. Притащил тепловую пушку.

Советские чугунные батареи висели по стенам и под окнами, как ржавые якоря. И напоминали, что суденышко это, Каплин дом, давно списано и следует с этим мириться. Но двери пели от сквозняков, в голландках похрустывал дровами голодный огонь, и в доме звучали еще шаги и голоса. И даже стекла были целы. Так что с помирием можно и погодить...

Фонарик выхватывал факты разорения, жилец огибал завалы и зазоры, открывал двери, обходил владения. Печи были теплы.

Но вот что это? В небольшой комнате у самой лестницы пахло табаком. Сам он в доме не курил. Но может быть, это дом дышал, выдыхал какие-то старые запахи, которые хранил? Марат иногда замечал, что появляются откуда ни возьмись незнакомые старые вещи в углах,

которые он только что очистил. То вдруг щекотал ноздри запах пирогов в какой-нибудь комнате. То вдруг духами пахло над лестницей на второй этаж. Привидения, что ли? Наверное, так дом говорит с ним. Так они знакомятся. Ведь его право быть здесь неоспоримо.

— Ты это понимаешь, мастодонт! — Марат хлопал рукой по бревнам, словно по гигантским несокрушимым ребрам. Если бы это было живое существо, он бы увел его отсюда в счастливые и теплые края.

Из коридорного окошка дуло. Марат приставил к окну картонку — закрыть щель. На картонку приклеена фотокарточка, старая, испорченная безвозвратно. Чья? Неизвестно чья. Он подумал: счастливцев тот, кто владеет кучей карточек, пусть старых, линялых, с загнутыми углами, в трещинах и пошлой ретуши. Счастливцев объясняет, что это вот — его прадедушка, начетчик в Вятке. Это — прабабушка, схоронившая в Чите трех мужей. Семейные истории — лекарство, хотя нас и не учили любить всю эту ветхость, а учили презирать провинции и буреломы памяти, а взамен мы получили свое будущее, в котором пустота совокупляется с пустотой.

Фонарик, бросавший луч на фото, погас: отошла батарейка. Темнота улицы стала проглядываемой. В ней как будто ходили какие-то давешние люди. Может, это бегала его родная прабабка с сестрой и братом? Марат не знал двоюродную прабабку, купеческую дочку Евдокию Каплину, по воле которой он получил дом. На фото ему, десятилетнему, показывали детей — двух девочек и мальчика. Дуняша была старшей среди детей, красивой девочкой. Он, конечно, наделял незнакомку дальнейшей судьбой. Вот она невеста, танцует с цветком в волосах. Ее муж — принц, на самом деле — пират; вот и она становится пираткой и уплывает на паруснике с черными парусами...

Марат легонько стукнул фонариком о подоконник — тот загорелся снова. Взрослым он узнал, что прабабка умерла бездетной. Все замаливала какие-то грехи перед семьей, говорила мать. Она не любила рассказывать о своей родне, ей было неинтересно, только припоминала иногда легенду о гибели в революцию купца Каплина и его последней жены, легенду, серым облаком витавшую в семейной памяти. Родные по материнской линии друг с другом не общались, разъехались кто куда — и семейное предание таяло, становились все более неопределенным. Так всегда бывает, если история остается только в документах, если ее не питает живой интерес. Каплина упоминали в краеведческих книжках как авантюриста и мецената, но это были слепые буквы, слепые слова, это были черные значки на равнодушном белом. Надо бы разузнать подробнее, подумал Марат, вспоминая прабабку-пиратку, которая снилась ему в детстве одноглазой и вооруженной до зубов.

Наконец, хозяин вошел в комнату, из которой распространялся запах табака, и остановился, чтобы обследовать печь, трогательную голландку в европейских изразцах — девочка и петушок. Он поднес фонарик к бумаге с чертежом, затем перевел свет на топочную дверцу.

А фонарик вдруг выхватил из темноты посторонний предмет, лежащий под кафельным боком голландки. А точнее — неизвестное,

накрытое ветхим одеялом каких-то дедовских времен, тело. Это был Маня Иванович, он уснул, освободив из ботинок покалеченные ноги. У окна белели дрова, похожие на голые, обглоданные кости. На дровах, притворяясь в темноте большими сонными птицами, дремали сырые языкастые ботинки.

Марат потянул за одеяло. Из-под него показалась крупная спящая голова.

— О, гости! Что ты тут делаешь, мужик? Еще ботинки расставил... — Марат удивленно пошевелил тело ногой.

— Сплю. Слепой или что? — Маня Иванович, как и всякий человек, проживающий на улице, быстро очухался ото сна, подобрался, привел себя в сидячее положение и кулаком, по-детски, протер глаза.

Марат зыркнул фонарем прямо в лицо Мани Ивановича и присвистнул:

— Ну у тебя и рожа!

Действительно, рожа у Мани Ивановича была совсем неказиста: кругляшки глаз подзаплыли, а щетина будто черным туманом обволокла все лицо. При таком обманчивом освещении казалось, что даже лоб гостя крепко зарос черным волосом. На самом деле это была шапка, которую тот надевал на ночь даже в больнице, — боялся менингита. Был у него пунктик. Врачи над ним шутили, а один молодой докторишка прочитал лекцию про менингит. Что, мол, микробное проникновение в мозги, и все такое. Но что этот сопляк знает про менингит?..

— А что тебе моя рожа? Не на рожу надо смотреть, а на то, что у человека пальцев на ногах больше нету. Пропали пальцы! Все, как есть, до одного! Из больницы иду... — Маня Иванович даже всхлипнул, иллюстрируя потерю. И поднял вверх короткую ступню, надеясь разжалобить человека.

Марат пробежал фонариком по Маниной печальной фигуре. Постоял, подумал. Ладно, ночь все-таки на дворе.

— До утра спи. Не кури только, дом спалишь. А утром уходи. Понял? — сказал и тут же укорил себя за глупое мягкосердечие.

— А ты сам-то кто? Комендант, что ли? — не сдержался, язвительно хмыкнул Маня Иванович, рукой обводя запущенное хозяйство и обнеся затем пространство как хлебом-солью затейливым спелым матерком.

— Хозяин. Еще вопросы?

— Тут народ хозяин, — сказал Маня Иванович и сам смутился. Потому что какой, к чертям собачьим, народ...

— Какой народ? Ты кого-то, кроме меня, здесь видишь? — Марат подошел ближе, фонарный глазик пристальней уставился в лицо Мани.

Тот смекнул, что зря полез в бутылку. Лица человека он не видел, но, судя по голосу и росту, крупный тип. Выкинет, как шавку. Люди как раз сейчас такие, долго не думают.

— Ну хозяин так хозяин. Я буду тихо. Ты, это, извини, мужик. Я так...

— Спички и сигареты заберу.

Маня Иванович послушно протянул измятую пачку и сверкающую зажигалку, которую присвоил, втихаря изъяв у соседа по палате,

домашнего старичка. Старичок его жалел, ну, небось, не будет в обиде за такую мелкую покражу. Хозяин прошуршал — видать, сунул Манино добро в карман.

— Спокойной ночи. И не шали.

— Ты не обижайся, слышь... Вижу, ты с пониманием. И сигареты, это, не скури. Последние, слышь!

— Не скурю, — хмыкнул Марат и отвернул фонарик.

Свет удалился. Хлопнула где-то дверка. Маня Иванович радостно поплыл обратно в облегчительную бездну сна.

Утром Маня Иванович не смог встать. Он проснулся оттого, что все тело ныло и ныло. Даже в голове, казалось, раздается это мерзкое нытье. Снял носок — и от зрелища покрылся холодным потом. Ступни его распухли и покраснели. В больницу его, наверное, больше не возьмут. А с такими ногами на улице верная смерть. Ни пожрать, ни выпить, ни, стало быть, согреться.

Марат, пришедший спроводить гостя, обнаружил его сидящим возле печки и озабоченно разглядывающим красное, больше похожее на отростки коралла, чем на человеческие ноги. Марат смотрел молча, а внутри весь содрогался, плохо соображая, что теперь следует делать. Он всегда робел перед телесным недугом, перед полнотой боли, которую внезапно чувствовал в другом человеке.

— Ты, слышь... Я тут у тебя побуду, у печки. А то не дойду до своих... — У гостя зуб на зуб не попадал, его знобило.

— Что ты тут делать-то будешь? Чего вылеживать? А вдруг заражение и ты тут... — Марат чуть не сказал «помрешь». И, досадуя на себя за такие, пусть и не сказанные, слова, ерошил волосы.

— Ну не дойду я. Не на чем, братан. Не помешаю, смирно тут буду лежать.

— Куда идешь-то? — тихо спросил Марат и понял, что не к месту спросил: зачем об этом спрашивать сейчас?

— Из ожогового центра к друзьям шел. Они там живут... далеко... У них остановиться хочу, пока... пока не обустроюсь. — Маня Иванович махнул рукой в пространство и подтянул одеяло к подбородку.

Слово «обустроюсь» вырвалось у него помимо воли. Где бы он стал обустроиваться? Но перед этим, перед хозяином, неудобно как-то сказать, что он бездомный без надежды на всякое обустройство, что все его обустройство — в землянке у друга, убежденного алкаша Дягилева, или в колодце, где проходят горячие трубы. Да и то, еще неизвестно, не выгонит ли Дягилев. Он мужчина себе на уме. Ему лишние калеки, наверное, ни к чему. Он же про пальцы не знал, когда предлагал место в землянке. А ведь если место дают — стало быть, и работать надо, железяки таскать.

— Ладно, сиди пока тут. Сейчас что-нибудь придумаю. Скорую, может, а?

— Не возьмут.

— В смысле? Как не возьмут? У тебя же ноги...

— Ты на меня внимательно посмотри. Ты бы взял? — неприятно ухмыльнулся болящий.

Марат оглядел незнакомца внимательно. При дневном свете он заметил огромное зеленое пальто, которое служило и матрасом, и верхней одеждой, и вытянутые трикотажные штаны. И рассмотрел лицо. С холодным и непривычным внутренним стыдом подумал, что нет, наверное, не взял бы. И про себя утратился такой правды.

— Ты из какой, говоришь, больницы идешь? До двери дойдешь? Сейчас... — Хозяин убежал.

Маня Иванович вздохнул, сжался весь — э-эх, выгоняют все-таки... Очень уж ему не хотелось на улицу. Впрочем, он уже привык, что внезапно нужно сниматься с места и уходить, даже если идти, по-хорошему, невозможно. Он бы погрызался еще, а может, и поумолял бы. Но силы уходили. Он собрался, дополз до ботинок, сгреб их и, кое-как поднявшись, поковылял к двери.

— Эй, куда собрался? — Вернувшийся хозяин протягивал ему ворох одежды: — Переоденься, а то в машину не посадят.

Маня Иванович бездумно переменял одежду, уже плохо соображая, и шумно опустился на пол у печки, вытянув ноги в веселеньких благотворительных носках.

Скоро доктор и два прыщавых помощника, видать студенты, осматривали конечности пациента.

— Чистые, — кивнул на носки Маня Иванович, когда заметил, что прыщавые внимательно оглядывают его ноги. И мысленно поблагодарил неведомых благотворителей.

— Доктор, в ожоговый отвезите. Он из ожогового пациент... — Марат мешался под ногами.

— Родственник? — спросил молодой высокий доктор с ярко-голубыми, шальными глазами, легкомысленно и неумолимо жуящий жвачку, время от времени выдувая маленькие резиновые пузырьки.

Марат подумал, рассматривая этот мерно двигающийся жевательный механизм, и сказал:

— В какой-то мере.

Доктор вытащил из кармана тетрадь. И уставился на Марата небесными крошками:

— В какой же? Имя, фамилия пациента, год рождения...

Марат взял доктора за локоть и, нагнувшись, тихонько, но настойчиво сказал, чтоб не слышали прыщавые:

— Человека в больницу заведи. А там все и узнаешь.

Доктор усмехнулся, приостановил жевание, поморщился, подвигал плечами, словно у него случилось какое-то неудобство в спине, и проигнализировал своим:

— Грузите.

Те понесли Маню, а сам распорядитель еще постоял, пожевал, потер лоб, поглядывался вокруг — место уж больно неожиданное. И, сощурился глаза, как-то сочувственно, по-товарищески спросил:

— Тебе это надо?

Марат промолчал. Только кивнул неуверенно, не поняв в точности, к чему относится «это» — к человеку или же к дому.

— Ну и хорошо, что надо, — удовлетворенно сказал доктор и вышел.

Так Маня Иванович отправился обратно в больницу. Уколотый обезболивающим, тихонько грустил он на носилках, глядя на санитаря, который качался согласно движению. Он пробовал восстановить в памяти того, кто отдал ему свою одежду и неожиданно назвался родственником. Лицо не представлялось во всей полноте. Он, по правде, его вообще не разглядел — сначала в темноте, потом в воспалительном приступе. Мане Ивановичу сделалось неловко. Да уж, такой вот он родственничек.

После того как уехала машина, Марат долго еще торчал на крыльце, смотрел в утренний туман. Потому что незнакомый человек вторгся в его безлюдное существование и нарушил его. Марат вспомнил Елену и неожиданно ощутил удовлетворение оттого, что ее нет больше рядом.

Глава 5. Нольберг

Двое злоумышляли против человека по фамилии Нольберг. Они вынашивали свои не слишком коварные планы скромных вымогателей уже второй месяц — задание, которое они намеревались получить в этом кабинете, внезапно отменилось, и они жаждали компенсации. Однако Нольберг выпихивал парочку из своего скучного обиталища до того, как она успевала что-либо сказать — а значит, и совершить.

Отослав противных гостей и в этот раз, Виктор Нольберг разместился в узком кресле и, покручиваясь то в одну, то в другую сторону, мечтательно глядел на бумаги, которые были разложены в разноцветные папочки на дальних углах стола. Между ними располагался тяжелый письменный прибор из яшмы — подарили сослуживцы. А середина стола была пуста. Это потому, что Нольберг любил смотреть на бумаги отдаленно, когда они лежали спокойно, символизируя порядок, в котором Виктору Викторовичу отводилась хорошая, достойная роль.

Фантастические силы смиренно лежали, укрытые пластиковыми сава-нами, синими и красными, и выставлялись на белый свет лишь своими острыми краями — как мультяшные вампиры в гробах острыми носами и скулами. Так же и оживали — внезапно, в нужный момент. В них заключалась какая-то сверхъестественная мощь, благодаря которой мог безбедно, с затеями существовать и он, и его отец, и двоюродный брат Вадик, и еще отец Вадика, окопавшийся в дорожной службе. Они, эти бумаги, давали работу легиону служащих, существовавших, так или иначе, за счет белых гладких листков. Оказываясь в обед в скромной столовой, куда его коллеги стекались непрерывным потоком с двенадцати до двух, Нольберг восхищался тем, какова же власть бумаг.

Постучалась Рая, секретарша. Она принесла еще папочку, почтительно положила на стол.

— Ты лучше кофе принеси, — встревожился Нольберг, отодвигая папочку на край столешницы.

Ему оставалось досидеть два с половиной часа до конца рабочего дня. Он не ждал, что сегодня ему придется думать еще над чем-то посторонним.

Иногда на него находила какая-то детская слабость, будто бы одна его половина ясная, предсказуемая, полезная, а другая — темная, незнакомая, опасная. Красивое лицо тогда искривлялось гримасой, со стороны — будто бы беспричинно. Раечка поначалу думала, что это приступы высокомерия или брезгливости, но быстро поняла, что начальник в принципе высокомерен, а гримаса относится к чему-то другому. И определила, что «рожа» появляется, стоит только Нольбергу попасть в неудобную или неловкую ситуацию. Стало даже весело — в такие моменты Виктор Викторович выглядел просто невозможной копией своего папаша, который, бывало, заглядывал к сыну в кабинет. Правда, старший был человеком жестким, а отпрыск казался слабаком, даже споры с папашей избегал, на все как будто бы соглашался.

Поначалу Раечка злилась: мол, приставили ее к какому-то доходяге, которого и шефом-то называть стыдно. Очевидно же — человек не на своем месте, нет в нем ни соображения, ни воли. Потом ее отношение к начальнику изменилось. Он был человеком с двойным дном, неустойчивым каким-то, поэтому опасным.

Нольберг-младший всю свою недлинную жизнь искал возможность быть таким же сильным и бескомпромиссным как отец. Главным словом воспитания в их семье было вопросительное, с вызовом «Слабак?». Он отлично учился, серьезно занимался плаванием, стал юристом, женился — и все это для того, чтобы батя не сказал ему через губу, прищурился: «Слабак?» Чтобы чувствовать себя защищенным, чтобы слабость не могла застать его врасплох одного-одинешенька. Стоит только ему оплошать, его сомнут, сожрут, расстреляют. Отец так и наказывал подчиненных, еще когда работал большим начальником на ГЭС, — буквально, ставил их к стенке и расстреливал речью, полной злых и даже запрещенных слов. Так же он обходился и с его матерью, да и с ним.

Виктор Викторович и в свои тридцать пять робел перед отцом, когда тот заходил внезапно в его кабинет — бывший свой, зыркал по сторонам, словно проверяя, все ли на месте. Сам он занимал большущий кабинет этажом выше. Туда младший Нольберг старался без особой надобности носа не показывать. У него — и он это понимал — не было ни номенклатурной хватки отца, ни его опыта, ни его уверенной ловкости, усвоенной в этих широких коридорах, смягченных ворсом красной ковровой дорожки под ногами. Тюп-тюп-тюп — так звучали здесь самые решительные шаги Виктора Викторовича. С этим ковровым тюпаньем прокраившись до кабинета родителя, он обычно долго топтался возле, примеривался, как взяться за ручку кабинетной двери. Но чувствовал себя здесь посторонним.

Он завидовал отцу, которого, несмотря на жесткий характер, уважали всегда — и когда-то на предприятии, все, до последнего бетонщика,

и здесь, в этой закрытой от общего глаза вселенной государственной службы. Отец умел решать самые сложные вопросы, умел настоять на своем. Может, его и не любили, но дело у него всегда шло.

Открылось окно, в кабинет ворвался ветер. Рванул со стола все невесомое, раздул бумаги по кабинету. Вмиг стало холодно, а на полу — бело. Словно в помещении повалил с высоченного потолка снег.

— Рая! — громко, глухо, противно, словно в жестяную баночку бил, позвал Нольберг, упавший в мысли об отце, как в яму. Слабость заставляла его быть жестким. И таким он себя любил, таким он казался себе похожим на отца.

— Ой, я сейчас уберу... Ой, не волнуйтесь! Там все пронумеровано. — Рая, хлопая коровьими огромными глазами, смотрела на шефа, изображая встревоженность.

Она знала этот его голос — значит, в ближайшие дни он ее совсем замучает, будет стервозить и тупить. Придется самой делать большую часть работы.

Наивно-глуповатое выражение Раечкиных глаз, так же как вообще ее внешность и особенно секретарский макияж, было обманчивым. Рая обладала живым и расчетливым умом. В архитектуре и городском обустройстве она разбиралась, надо сказать, куда лучше своего начальника. Раина мама гордилась, что дочка получила хорошее образование и неплохое местечко. И рассчитывала, что и жениха через свое служебное положение Раечка заполучит достойного. Представления о жизни, о комфорте, о счастье дочери строились на ее собственных неосуществленных планах. Рае, когда она вспоминала маму, всегда хотелось плакать — оттого, что мамины мечтания настолько не сбылись, что мама больна и почти не выходит из дому на своих толстых слоновьих ногах с огромными, как синие канаты, венами.

Мама была из предместья, из простого трудового семейства — рабочих мамы и бабки. Женщины в Раечкиной семье на протяжении двух поколений заворачивали конфеты на кондитерской фабрике. (На Раечкино счастье, фабрику закрыли, а то заворачивать бы и ей сладости без продыху.) Мужчины в семействе обычно долго не задерживались, сбегая от своих безрадостных, угрюмых и требовательных женщин, которые, что бы ни делали, казалось, все монотонно заворачивали и заворачивали конфеты. От таких любой убежит. Так что Раечка своего отца понимала: помер, все равно что сбежал — зашибло насмерть на стройке. Отчим просто однажды ушел, в соседний дом.

Вдовствующая, а потом и брошенная, мать неистово хотела, чтобы Раечке досталась хорошая жизнь. На сына, Раечкиного брата-погодка Толика, она рано перестала обращать внимание, ей казалось, что мальчики растут сами по себе и что от них потом все равно никакого толка — женится или уедет, и поминай как звали. А вот дочь — это другое (она и сама не бросила свою сварливую мать, и та мотала ей нервы, пока не преставилась). Все свои схематичные мечтания она посвящала дочери, а через это — и своей старости: мол, не останется одна, будет

за ней присмотр, гарантирован стакан воды. Раечка за эти досадные, убогие мечтания жалела маму.

Когда Нольберг спешно покидал кабинет, помощница, ползая по полу, собирая под столом разметанные ветром бумаги, размышляла о маме и о том, что было бы, если бы вдруг, по стечению сказочных обстоятельств, она заняла бы удобное кресло за этим столом...

...Еще через полчаса те двое, которые всякий раз изгонялись из Нольбергова кабинета, сидели на кухне новой квартиры в новенькой многоэтажке. Один пил водку, а второй не пил, только хлебал борщ и поддевал с блюда сало. Поэтому у второго, на чьей кухне они и сидели, были жена Дарья и дочь Настька. А у первого жены не было, а была где-то дочка, но далеко, он никогда ее и не видел.

— Долго сидеть будем? — Дарья вплыла на кухню серым облаком.

Это была ее новая, еще не освоенная кухня, территория, где она деловито устанавливала свое владычество. Муж на кухню не претендовал, а вот второй... Острым взглядом она глодала и посетителя, и мужа, непримиримая, как акула. Тем более что и мебели в квартире не густо — старую выкинули, новую не купили, на все сразу денег не хватило, — и Дарью очень интересовал стул, на котором сидел гость. А заодно и стол — дочка Настька достала краски, альбом и уже полчаса ныла, требуя светлого места для рисования. Им, переселенцам из ветхого жилья, за государственный счет досталась все-таки не самая лучшая квартира: с обеими комнатами на теневую сторону и только с кухней — на солнечную.

— Все? Натрескались? — сурово поинтересовалась Даша, сложив руки на груди.

Она была богатыршей, могла поднять мужа и покрутить его в воздухе. Толик это чувствовал и никогда не спорил.

— Ну? Все?

Толик притих, отложил ложку. Гость вздрогнул, выпрямил длинное тело, скрюченное над столешницей, отодвинул стул.

— Кобыла, иди сена пожуй! — и вышел совсем. Только дверью входной, квартирной, хлопнул сильно. Резкая Дарья ему совсем не нравилась, хотя он и был ее единокровным братом Евгением, по-семейному — Жекой.

— Иди, иди! — заорала вслед и Дарья.

Брат отсидел свое, потому что был в гневе неукротим, прибил одного мужика. Даша знала о рисках, но временами в ней зашкаливало. Она и сама становилась похожа на буйного родственника, особенно теперь, когда ее жизнь, не шибко-то богатая, но зато спокойная, к которой она привыкла, находилась в зоне риска. Она чувствовала это, хотя и не могла предъявить конкретных подозрений. Дарью тревожили таинственные планы, которые с некоторых пор обсуждали муж и брат. Ее не посвящали, мол, не бабское дело.

Она подумывала позвонить отцу, пожаловаться, поделиться подозрениями. Но отец был очень стар, дышал на ладан и каждый раз, когда она, любимица, его навещала, прощался. Мать все чаще заговаривала

о гробе и ритуальных услугах, мол, надо бы заранее заказать. Это сначала было страшно, потом стало просто утомительно и печально. Даша отчитывала мать — чего живого хоронит. А потом подсаживалась на отцову кровать — тот быстро утомлялся и уходил лежать, — прикрывала голубеньким детским одеялком его ноги и смотрела. Он действительно уже уходил, но что-то держало и держало его. Даша содрогалась, представляя, что и она может вот так же застрять между жизнью и смертью. Так себе существование. И удивлялась, что она молода, тридцать с хвостиком ей, а отец ее так стар. Даша была его последним ребенком из трех, Евгений — старшим, от первой покойной жены. Конечно, отец, некогда сильный и горячего нрава мужчина, не смог бы повлиять на сына, повидавшего виды.

Может, обратиться к сестре? Сестра Аня проживала недалеко от их прежнего дома, в частном секторе. Она была плодоносяща, как старая кривая яблоня во дворе. И некрасива, как эта яблоня. И так же молчалива. Только шелестела иногда стиркой, тряпкой. Муж ее уважал, но любил на стороне женщин поинтереснее. Аня знала, но не укоряла — что ж делать, если Бог дал ей такую узловатую натуру. Муж, как бы в ответ, завел магазинчик и очень щедро содержал ее и детей, поставил хороший дом. Нет, Анне не пожалуешься — что она сделает? Только расстраивать...

Даша была не такой, как Аня. Даша была большой и красивой. Даша хотела руководить своей жизнью и строить счастливое, тихое будущее. В детстве они с братом Жекой кроваво дрались, и часто она побеждала. Но когда ж это было... Теперь его так просто не усмиришь.

— То-о-оль, — загундосила Даша, — что у вас за тайны такие, расскажешь, а?

Она решила выпытать все хитростью. Выпятила живот. Они ждали второго ребенка.

Толик заулыбался, мечты о продолжении рода были самыми сладкими его мечтами. Конечно, Жека прав, семью надо кормить-поить. Но он и так кормит-поит, не голодают. Шубку Дашке купили, для пуза. Толик поглядел на жену. Да, они, младенцы, внутри женщин живут такой непонятной одинокой жизнью, и настанет момент — вылупятся, попадут в шумный, опасный мир. Их еще надо научить быть стойкими, держать удар. Сердце у Толика сжалось, забродила в нем жалость, сам не знал, к чему и почему. Он, конечно, был силы невеликой, так себе, но достойно нес свое существование, скромный, но хорошо оплачиваемый автослесарь и отец семейства.

— Дашуль, ну какие тайны? Ну ты чего навывдумывала себе?

И Жека, конечно, прав. Конечно, стесняться нечего. Они хорошо заработают. Жека, конечно, свое прогуляет. А он, Толик, свою долю отложит, пригодится им с Дашей, Настьке и тому, кто сейчас плавает в утробе.

— Дашуль, может, чайку заварить? — Толик сделал попытку заговорить жене зубы, чтобы за пару минут придумать, как правдоподобней соврать. Дарья нехотя шагнула к чайнику.

— Я вчера какой-то хитрый чай купил. Продавщица сказала, очень ароматный. Вот его.

Да, Жека прав, пожалуй. Сделать надо по его плану, двойные деньги загрести. Везде уже новые дома, а тут — старье, пусть уже его заменят. Там уже даже бомжей нету. А с этого модного, с поганки этой, взять за молчание. Сам-то он, наверное, куш сорвал так сорвал... А дело-то противозаконное все же — пожар устроить. Рискуют они все же. А эта сволочь серая еще и торговалась до последнего. Небось с канистрой по морозу не ему бегать! Кому бегать — это им с Жекой найти предстоит, сами-то — нет, не побегут, только на крайняк, как запасной вариант. Риск большой, Жека говорит. Хотя в чем риск? Кто их увидит, с другой стороны? Зато все деньги им останутся. Кто не рискует, тот не пьет шампанского...

В предвкушении богатства Толик весело накручивал себя и уходил в революционные кухонные мечтания. Лично против Нольберга Толик ничего не имел. Лично против *таких* не имел ничего ни он, ни его товарищи. Потому что в *тех* не было ничего личного. Они в сознании автослесаря Толика существовали фигурами, представляющими непоименованную силу. Не зло пока еще, но уже и не добро. Эту зыбкую силу такие, как Толик, тайно ненавидели — ибо за чей счет *те* жируют? Но одновременно признавали и простодушно завидовали, мечтая приобщиться.

Раздался звонок. Еще один. Еще один.

— Сестра твоя, что ли, пришла, нетерпеливая? — пробурчала Даша и завопила, отставив заварник: — Райка, щас! Щас открою!

Глава 6. Философ

...Один старый поэт-эмигрант говорил: что вы понимаете в свободе, вы, молодые! Вы ее не желали, как жену лучшего друга! Вы не проливали о ней слез в камерах хрущевских кухонь! Не страдали за нее через нищету и всеобщее порицание! Не прорывались к ней через танки!..

Да, все так. Но мы ее получили. Такую несмелую, всю в ваших липких отпечатках, свободу. И даже не опознали ее сразу. Что, думаем, за чудо-юдо, что за неопределенность и субстанция? Эта глина, которую вы назвали свободой, расплзлась, размокла. Мы в ней только вязнем, мы не знаем, как лепить из нее. Да и вы не знаете — это мы увидели, в этом мы убедились.

Так что не готовы проливать о ней тайные или кровавые слезы. И вообще, мы не уверены, что эта жидкая ерунда, которую вы назвали свободой, — и есть свобода. И уж точно, она не лучший строительный материал для счастья.

Да, мы не были на вашем месте, но мы были после вас. Если свобода — это форма безответственности или вариант рога изобилия, в чем вы пытались нас убедить, то нам такая больше не подходит, — и спустя десятилетия мы хорошо разбираемся в этой вашей свободе. Нас от нее даже тошнит.

Мы весьма даже в ней разбираемся, наблюдая теперь наших собственных детей — инфантильных, безыдейных, полностью независимых. Их не интересуют крупные вопросы бытия, они обитают в торговых центрах — они свободны. Конкуренцию им могут составить разве что юные карьеристы, но и здесь мы упремся в стену пользы — они просто хотят хорошо, богато и причудливо, жить. Кругом — одно ничтожное.

Так что не учите. Ваша так называемая свобода — это прекрасные глаза дьявола. Это скука дерзаний. Вот если бы вы хотя бы показали нам приблизительный способ укрощения этой глины... Но, конечно, у вас, к нашему несчастью, не было и нет рецепта...

Так беспокоило думал Леня Абрикосов. А он бывал особенно неспокоен, если вдруг появлялось ощущение, что свобода, которая стала для него главной темой для размышлений еще в юности, — это что-то совсем другое, совсем не то, о чем он думал раньше. «Россияне могут помочь премьер-министру придумать кличку для его новой собаки. Каждый желающий может прислать свой вариант клички на его сайт. Одна собака у премьера уже есть. «Конечно, очень важно, как они выстроят свои отношения», — отметили в пресс-службе премьер-министра...» — читал Леня в новостях. Боже ты мой! Это признак свободы?! Леню мучило, он физически ощущал подлость времени.

— Свобода в итоге ведет к уничтожению себя. Свобода — твое несуществование. Сочинители вечно пеняют на недостаток свободы. Но нет же! Нет же! — кричу я. — Наденьте на меня наручники, обмотайте ноги колючей проволокой — верните, наконец, ценность слову «свобода»!

Леня так думал, кричал внутри себя — и ему было тесно. Лене казалось, что он в червивой яме. И зубастые черви пока не грызут его, как капустный лист, только потому, что хорошенечко не разглядели. Леня был псих. Окончательный, проявленный псих. Он это знал так же хорошо, как свое имя. И даже мама уже подозревала... Боже, но как же тесно!..

Он думал: хочу знать о желании воли и возможности свободы для конкретного русского человека!

— Помойка — душеспасительное жилье по сравнению с вашими золочеными конюшнями! — закричал Леня кому-то, заорал в балконный проем.

Уже холодно, пора закрыть чертов балкон.

Лене было сорок три. Сто лет назад он вышел с философского факультета — один из шестидесяти выпущенных в тот год философов. Они, философы, всегда состояли в приятельских отношениях с журналистами. Это был симбиоз. Они мыслили, где бы зависнуть и дать разрядку своим молодым нервам — поговорить, поспорить о свободе, а журналисты притаскивали материал — выпивку. Но это сильно в прошлом. Теперь Леня спорил о свободе то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым, — никто из живых знакомых, даже на факультете, больше не хотел о ней

говорить. Тогда они еще много говорили и о женщинах — в нежном возрасте о женщинах говорят едва ли не больше, чем о свободе. Потому что поначалу кажется: чем больше женщин, тем больше и свободы. Но теперь и это кончено — стало очевидно, что это совсем не так. Тем более Леня влюбился.

Сумрак, мастер женских полуфигур, преподносит нам женщину как существо плавное и текучее. Это обман. Женщина не существует в заданном русле. Если, конечно, под руслом не понимать природу — но природные тяготы существуют в ней лишь компасом, указателем направления, и только. Русло женщины образуется и преобразуется, соотносясь с нуждой момента. Она может накрыть собою все, а может быть точкою в пространстве и, сидя на своем удобном диване, не отвечать на звонки мужа, не обращать внимания на детей. Она в этот момент может просто существовать, воображая себя вселенной на краю галактики, принцессой в башне или итальянкой на шопинге — кому как больше нравится. Не стоит в такие моменты пытаться выяснить с нею отношения.

Леня Абрикосов всего этого не знал. Он, бедняга, даже не догадывался об этом. Элеонора — какая фантазия наделила это существо столь ярким именем? — цокала коготками о полированную крышку стола, болтала правой ногой, легкомысленно положенной на левую. Голова ее была прекрасна. Эта голова умела говорить. Но что она говорила! Иногда Леня приходил в ужас.

Только нелепая, необузданная и извращенная случайность могла соединить Леню и Элеонору. По правде, знакомы они были с детства — вместе росли, так как родители их работали на одном секретном производственном предприятии. Леня и Элеонора ходили в одни ясли, в одну школу, ездили в один пионерский лагерь при комбинате, где их мамы и папы собирали гигантские самолеты. И все для того, чтобы созрел этот кошмар: в сорок лет Леня вдруг влюбился в Элеонору. Может, переезд в новый дом так на него повлиял? «Господи, ну почему любовник Элеоноры не купил ей квартиру в каком-нибудь другом доме!» — вопрошал Леня уже не Канта с Гегелем, а Всевышнего. Вот до чего докатился — Всевышнего! — что тут еще скажешь...

Есть такой род чувства, который в просторечии именуется безумной любовью. В случае с Ленией это было истинно так — невыносимо. Что в нем, какая сумасшедшая косточка хотела слышать этот голос, видеть это все? В школе Элеонора была самой глупой девочкой, вообще самой глупой, какую он только видел в жизни. И она не поумнела. Элеонора была фатально глупа и так же фатально хороша собой. Но Леня вдруг полюбил ее целиком, вместе с ее незатейливым умом и затейливой прической, которые в его глазах соединились в одно целое. В общем, он больше не пытался объяснить себе — точнее, объясниться с собой, оправдаться перед собой, — за что любит Элеонору. Просто так оно есть — и всё тут.

Леня Абрикосов, то есть бородатый Леонид Леонидович, кандидат наук, человек грандиозных помыслов, обладатель подвижной психики, любил иногда дремать на балконе в зарослях петуний, которые выращивала в неограниченных количествах его мать. И это были лучшие минуты жизни. Это были самые тихие минуты. Это они случались нечасто и сами собой. Непроизвольно вырывались, можно сказать. Все остальное время он бредил Элеонорой и поиском свободы. И непонятно, чем больше. Часто Элеонора и свобода сливались в нечто невыразимо приятное, монументальное, похожее на статую свободы, но как если бы ее соорудил какой-нибудь Микеланджело или даже Фидий.

Замуж за Леню Элеонора не вышла, конечно же. Он, правда, и не предлагал, все стеснялся. Пока просто проживал вблизи.

Эта самая Элеонора сидела сейчас на его, Ленином, диване и смотрела в стену. Ей, думал Леня, все равно куда смотреть, она богиня, она может вообще никуда не смотреть.

— Ленчик, ты меня любишь?

В детстве Элеонора спрашивала обычно: «Ты меня любишь? Тогда дай конфетку». Но год от года вторая часть этой словесной конструкции претерпевала возрастные изменения. Теперь она спрашивала:

— Ленчик, ты меня любишь? У моего парня проблемы с женой.

Леня вздохнул. После полета со второго этажа он стал спокойнее, нога зажила, трещина в ребре не беспокоила. Тогда Элеонора целовалась со своим ухажером прямо на лестничной клетке, и это чуть не убило несчастного влюбленного, который накануне вел спор с филологом-сторожем о свирепых ницшеанских воззрениях на женщину и любовь. Но падение сделало Леню адекватнее, терпеливее.

И все же, хоть он и был привычен к неожиданностям, исходящим от любимой, всякий раз подтверждаемый факт наличия у нее постороннего любовника вызывал как бы жжение в глазах. Он посмотрел в сияющие глупые очи своей свободы — и усмирил жжение.

— У него такие проблемы! Я просто не знаю, что и делать. Я хотела бы ему помочь. Может быть, ты поговоришь с его женой? Ты такой умный!

— Элечка, о чем я буду с ней говорить? — Леня в недоумении чесал бороду.

— Ну, ты ей объяснишь, что у нас все серьезно, что он меня любит...

Змея заползла Лене под рубашку. Он сдерживал себя, чтобы не начать расспрашивать глупышку о том, кто этот парень, где он работает, где живет. Он с радостью расскажет жене этого засранца, что у нее имеется жесткая конкурентка, непередаваемая красотка. Да, пожалуй, в ней все идеально. Леня опустил глаза на Элеонорины колени. Узкие, идеальные... Ну, или почти всё.

Нет, так он поступить не может. Или может? Нет, не может.

— Так нельзя. С какой стати я стану с ней объясняться? С незнакомой женщиной! Не представляю.

Элечкины глазки нехорошо заблестели. Будет плакать, подумал Ленья и захотел сбежать. Но не сбежал. Он сказал:

— Я подумаю. Оставь мне ее телефон.

Элеонора записала телефон на клочке бумаги. Ленья смотрел, как бегают ручка по мятым клеточкам тетрадного обрывка: «Агата Нольберг».

Ленья решил на следующий день. Решился, потому что ночью ему снились разноцветные сны, и среди них — эротическое наваждение Элеонора.

С утра он позвонил незнакомке и потом отправился в путь — к оскорблению себя, к унижению чужой, неведомой ему женщины и, может быть, к счастью Элечки.

Ленья шел для разговора, который должен был повлиять на его судьбу. Голос у женщины по телефону был тихий. Грустно такому голосу сообщать печальный факт. Ленья тогда растерялся, долго молчал в трубку и пригласил женщину на встречу — так, лицом к лицу, все-таки удобнее. Он понимал подлость Элеонориной игры. И теперь, поддавшись соблазну, решил рассказать незнакомке всю правду, выложить как на духу и свой интерес — и тем, может быть, поправить дело, сделать его честнее, искупить вину.

Они договорились встретиться в большом торговом центре, на первом этаже, у фонтана.

Фонтан сильно плескал и мигал разноцветными огнями. Ленья, который по грустному случаю вырядился в пиджак, осматривал проходивших женщин, пытаясь вычислить свою визави. Женщин было мало: рабочий день все-таки. Вот одна спустилась на эскалаторе, остановилась. Сапоги черные, пуховик черный, голубая шапочка. Неоригинально, н-да. Ленья привык к экзотическим нарядам Элеоноры.

Женщина в голубой шапочке подошла. Они посмотрели друг на друга. Лене сделалось неудобно, потому что у женщины был очень спокойный вид.

— Кофе? — женщина показала рукой куда-то позади себя.

Они прошли в кофейню. Ленья с повышенным вниманием инспектировал белые панели кофейни, черную доску с названиями напитков. Он избегал смотреть на спутницу. Она сидела, даже не расстегнув пуховик. Но шапочку сняла.

Он не смог выложить ей свою личную историю. Духу не хватило.

— Я не должен был, конечно... Но обстоятельства бывают сильнее.

— Вас попросили? Нольберг?

— Нет, я не знаю, кто это. То есть, с вашим мужем я не знаком, но...

— А! Так вы влюблены в эту девицу? — Агата улыбнулась.

Она все поняла! О, всезнающие Ницше с Гегелем и Боже ты мой в придачу! Ленина диафрагма задвигалась, в животе нехорошо затрепетало, как при расстройстве желудка. Она его раскусила, на раз-два! В глазах потемнело, он как-то сразу вспотел, ощутил капли, ползущие по шее. А потом поднялся и убежал, сбив рекламную раздвижку «Приходите к нам еще!».

Глава 7. Агата

«Этот больше сюда точно не придет», — хмыкнула Агата, когда охранник вернул раздвижку на место. Взялась было за голубую шапочку, но осталась сидеть, уставившись на оставленный бородачом большой картонный стакан с кофе. Стакан с кофе в роли молчаливого свидетеля драмы — это так банально. Впрочем, бородач произвел на нее впечатление. Он был несчастный, детский какой-то, человек.

Она спокойно допила свой кофе. Думать тут не о чем. Все уже давно подумано. Надо донести наконец туфли до ремонта.

Агата раскрыла пакет с вишневыми туфлями, лишенными набоек. Туфли-вамп, которые давно не пили крови.

Она подошла к фонтану, гудящему монотонную песню. Вода прыгала на пуховик. Слезки эти не катились, а сидели, вцепившись водяными ручками в черную траурную поверхность. Пора снять черное. Никто не умер, а она в черном.

Пакет с обувью Агата положила на край неглубокого, но примечательного бассейна — по всей чаше клубились замысловатые цветы, выложенные мозаикой. Наклонилась потрогать бортик. Пакет соскользнул в воду. Туфли выскочили из него и, покачавшись на поверхности, плавно осели на дно. Агата смотрела на туфли и на то, как плавает белый пакет. Нужно было достать их — как вещи или как мусор, неважно. Она в раздумьях огляделась. Где же охрана? Помахала одному вдалеке. Пока сюда дойдет, туфли уже будет не спасти, подумала равнодушно — и решила уходить, пусть сами достают.

С другой стороны кто-то залез в бассейн. Мужчина, разувшись, закатав джинсы, брел к вишневым туфлям, ступая по образам цветов.

Выловив пару, он поставил ее на край бассейна. Ни слова не говоря, вылез из фонтана, обтер ноги носками, достал из пакета новую пару носков, оторвал этикетку, надел, обулся, взял куртку. Агата с интересом смотрела.

Он взял в руку одну из спасенных туфель. С сожалением развел руками:

— Вряд ли восстановят вид.

— Вы сапожник?

— Нет, вообще-то архитектор. Но теперь, бывает, имею дело с кожей. Эта высохнет и пойдет пятнами.

— А... Ну спасибо все равно.

А что еще скажешь? Агата разглядывала некрасивое лицо с приятной улыбкой. Видела разворот плеч, бедра, плотно схваченные джинсами.

— Значит, выбросить?

— Выбросьте. Я вам новые куплю.

Агата рассмеялась неожиданному предложению. Он был, похоже, чужак.

— Вдруг еще встретимся. На этот случай — меня зовут Марат.

— Агата.

Они вышли из торгового центра и пошли прямо по улице. Агата шла домой, в свою хорошо благоустроенную нору на семнадцатом

этаже, в центральном районе, престижную нору, дорогую. Куда шел ее спутник, она не знала и не спрашивала. Он шел вместе с ней, в одну сторону. Но все равно им нечего было сказать друг другу.

Он думал: «Агата, имя красоты».

На перекрестке, под пиканье светофора, они, еще раз взглянув друг на друга, разошлись в разные стороны.

«Адам и Ева были детьми?» — думала она, падая на кровать, закинув мокрые туфли в пакете в дальний угол. Зачем она вообще притащила их обратно?

С ней ничего не случилось за то время, пока она шла домой. Но, с другой стороны, случилось. Может быть, ее взвинченный, нервный организм так внезапно и живо откликнулся на случайное участие? А даже если и так, кто ее упрекнет? Кто посмеет, учитывая, что сегодня ее просто так унизили?

Как прекрасно было бы жить в детстве человечества! Во времена безмолвных умных деревьев... Но кто он, где он?

— Мам!

Хорошо было бы стоять рядом с ним сорастением, чем-то растущим параллельно. Не касалась бы его, только видела и была бы рада, что они растут рядом. Но самые простые мечты и есть самые неисполнимые.

— Мам!

Природа порождает культуру, природа — мать любви.

— Ма-а-ам!

Агата поднялась с кровати — с ненавистной, чужой ей кровати. Потому что до сей поры она была совершенно спокойна, а теперь вся полна чувств, которые невозможно умерить. Сердце ее работает и теперь не вытерпит никаких полумер. Полумеры в теперешних обстоятельствах ее убьют.

Дети уже клевали носами перед телевизором и, мамкая, ждали, пока она придет, чтобы прогнать их спать, уложить, поцеловать.

Пятилетняя дочь распустила волосы, и Агата расчесывала их долго и медленно. Успокаивалась. Шестилетний мальчик забрался на свою кровать, на верхний ярус, и засыпал, пока мать укладывала златовласку.

Полумеры ее убьют. Виктор ею пренебрегает. Почему? Она, конечно, подозревала, но не решалась даже отчетливо об этом подумать — и тем впустить в свою жизнь что-то враждебное, постороннее. Надо называть вещи своими именами, говорили ей в детстве. Но люди обычно тянут до последнего. Это как с болезнью: болит у человека голова, а потом вдруг бах — и рак. И что теперь?..

Она долго, по очереди, обнимала детей. Дети робели, видя такой напор материнской любви. Но детское сердце отзывчиво и неподозрительно.

Нольберг задерживался. Агата была рада. Он придет — она уже спит. И не надо натужных, скрипящих, как старый шкаф, разговоров. Кому они нужны? Ей уже, во всяком случае, точно не нужны. Она вдруг поймала себя на мысли, что влюбленные и счастливые становятся

эгоистами, у них просто нет сил, никакой возможности смотреть на события объективно. Возможно, и у них с Виктором такое было, это сейчас Виктор вот живет своей жизнью и эта жизнь ей малоизвестна. Раньше у них будто бы находились совместные интересы — они покупали вещи, ездили по миру. Но с некоторых пор этот способ существования стал ее раздражать. Она вдруг обнаружила, что они оба живут неправильно, не так, как могли бы совершая что-то важное. А вся жизнь почему-то напоминает суетливое выживание, но по высшему разряду, с ананасами в шампанском.

И это странно. Тем более что поначалу ей казалось, что это и есть свободная и справедливая жизнь. Правильная жизнь для них. Материальный достаток — а то и переизбыток — давал возможность не считаться с некоторыми очевидными бытовыми трудностями, что стало привычкой. Привычка переключалась и в отношения. Они их не выясняли, не решали свои внутренние вопросы, а откупались и от вопросов, и друг от друга. Как будто друг другу говорили из раза в раз: ну вот, сейчас некогда, едем на Бали, потом поговорим, или: идем на костюмированную вечеринку, поэтому надо метнуться по магазинам, с остальным потом разберемся.

Виктор бросил идею сделать карьеру в следствии, потом — в адвокатуре. Он согласился на бывший отцовский кабинет и теперь отматывал там срок, как ни крути, под надзором. Агата побаивалась тестя, который считал своим главным правом окончательное решение в семье по любому вопросу. Кажется, Виктор к этому привык и отупел. Хотя, если честно, восставать против отца ему никогда и не приходило в голову. Скорее, он добивался его оценки и, может, любви: старший Нольберг был человеком скупым на чувства. Во всяком случае, так ей казалось.

Когда-то она оставила работу в юридическом институте, отчасти — из-за детей. Когда дети подросли, наверное, можно было вернуться. Но не вернулась. Так что она чаще, чем хотелось бы, встречалась с родителями мужа. Нольберг-старший был убежденный семьянин и хотел видеть внуков рядом. Мнение, которое у Агаты сложилось в самый первый раз, еще тогда, когда она была студенткой, не поменялось: жесткий, ловкий, неприятный человек.

Но Виктор, казалось, был его полной противоположностью. А как же иначе — иначе, наверное, она его даже и не выбрала бы? Или все было не так? Просто высох и распался тот воображаемый парадный чехольчик, внутри которого сидел равнодушный прожорливый червячок. Или нет?

У китайцев есть такое понятие — «правильное имя». Если мы называем вещи своими именами, то в любой момент будет легко понять, кто мы, в какой ситуации и рядом с кем оказались, — и принять правильное решение. Да, в этом есть смысл. Особенно в такие моменты, которые она пережила сегодня. А этот бородач, который так трогательно влюблен в любовницу ее мужа, — это что-то!

Агата рассмеялась — исключительно из чувства противоречия, чтобы не заплакать. Потому что, в общем-то, все изменения в муже

происходили на ее глазах и при ее молчаливом согласии. Потому что ей так было удобно. Потому что она трусиха.

Дети спали. Мальчик бормотал во сне. Агата прислушалась, но ничего не разобрала и, приглушив свет, отправилась в спальню, подняла пакет, вынула испорченные туфли, водрузила на подоконник. Виктор не выносит беспорядка — так пусть туфли стоят здесь.

Как будто яблочком из пакета выкатилось: Марат — неожиданное имя. Человек в ванне, Французская революция. Усмехнулась: как трагично.

С этим она ушла в гостиную, там включила таинственный угловой свет, потушила верхний и улеглась на диване, прижав пылающее от огня переживаний лицо к холодной кожаной диванной обивке.

Прошло немного времени, и прохлада дивана, его сонное волшебство, обволокло ее всю. Она услышала глухой уличный шум, это ветер облизывал заборы. Раны крыш, кровавые, блестящие, открывались новой пугающей свежестью в контрасте со снегом. Чешуя старости сползла со стен на этих старых улицах, они обновились. Человек двигался к Агате как к неизбежности, в неизбежном направлении. И он пришел, и встал перед домом, и ждал. Хотя как же она могла разглядеть его, стоящего внизу среди машин под деревьями, в снежном мареве? Она знала, что мужчина раньше следил за ней, шел за ней однажды до ее дома. Она видела его сквозь стеклянную дверь подъезда. Она думала: только бы он не пришел, не набрался храбрости. Да он и номера квартиры не знает. Нет, не придет. «Нет, придет, придет!» — ликовала внутри нее серая птичка-подкидыш...

Но как же она могла заметить его с семнадцатого этажа? А очень даже просто, ведь как-то мы ощущаем вспышки на Солнце, хотя не видим их глазами. Конечно, в окно с семнадцатого этажа не разглядишь деталей. Но там точно было животное, крупная черная сутулая собака, и человек — снизу смотрел вверх, на силуэт Агаты в окне. Она, конечно, пошла в прихожую и, когда забрякал домофон, нажала на кнопку и встала у входной двери в ожидании. Руку приложила тылом ко лбу, ждала температуры как объяснения бреда. Но нету температуры! И лифт шумит! Едет! Она ждет.

Звонок. Звонок. Еще звонок.

Агата проснулась, подскочила. Упала на пол диванная подушка. Открыть! Она остановилась на минуту перед зеркалом, потеряла глаза. Хотя смотрела куда-то мимо себя, внутрь зеркала. Не стала спрашивать кто, потому что понятно — кто: он, тот мужчина. Потом запуталась пальцами в цепочке. И сняла ее наконец, и повернула наконец ключ, и приоткрыла...

Вошел Нольберг.

— Витя... Рано ты. — Она растерянно стояла посреди коридора, вынутая из сна, из блажи ожидания чьими-то безжалостными руками.

Он хмыкнул, как всегда. Хорошо хоть хмыкнул, мог вообще проигнорировать.

Нольберга она намеревалась встретить не так, а во всеоружии. Не то хотела ему сказать. Она придумала надеть лучшее платье, быть красивой, еще успеть на маникюр. Чтобы он пожалел, что обманывает ее.

— Рано? Сама же ныла: «Приходи пораньше, приходи пораньше...» — Нольберг был раздражен.

После работы он часто бывал раздражен. К Элеоноре он не успел, она уехала на фитнес. Во всяком случае, так ему сказала: по делам, на фитнес. Он, правда, слышал на заднем плане мужской голос...

— А... Ну так обедать? — Агата ненавидела себя за то, что сюсюкает, а не шарахает внезапно тарелкой об пол, а затем высказывается в резких и даже непечатных выражениях.

— Ты на часы-то смотрела? Ужинать давно пора.

Он бросил пальто в кресло и удалился в ванную.

В кухне, вцепившись пальцами в краешек стола, она стояла как диковинная птица в своем пестром халатике, то ли злая, то ли растерянная. Вот и найди в такой момент «правильное имя»...

Утром она позвонила отцу по поводу работы. Он как-то говорил, что в институте освободилась вакансия. Нужно было возвращаться к нормальной жизни.

Глава 8. За кулисами

— Мы были в тьме тараканьей, где сети нету, — пожаловался, припадая ртом к телефону, сиплый сосед.

Женщина напротив достала платок, салон маршрутки окатила волна тошнотворного сладкого парфюма. Будто труп разлагается, подумал Марат. Он не выспался: все думал об этих вишневых туфлях в фонтане.

Земля — это могила первого родившегося на ней ребенка. Подумал — и глаза закрыл. Отчего всякая ерунда, мимолетная, с претензией на глубокомысленность, вытрясается из головы, едва только ослабишь бдительность? Дешевка какая-то... Почему он не спросил ее телефон, не пошел за ней?

Говорят, театральные люди ходят в театр как домой. Точнее, каждое утро из квартир, где ночевали, они возвращаются в театр, как в родной дом. С ним ничего такого не происходило. Он был здесь случайный, временный. Зачем он сюда устроился? Конечно, с Еленой он работать пока, наверное, больше не сможет, надо как-то разделить бюро, а до того — ждать, пока волна ее обиды не уляжется. Но в каком порыве он согласился на предложение режиссера театра, старого школьного товарища, который срочно искал сотрудника, хотя бы на время? Их неприятные обстоятельства совпали: Марат погряз в своих переживаниях и режиссер, который недавно развелся, то ли решил помочь товарищу по несчастью, то ли воспользовался ситуацией. Весь мир — театр, снисходительно оценивал Марат свой поступок. Никогда человек не знает, к чему движется, — он просто движется, иногда иррационально соглашаясь на взятки пространства.

К Марату в театре относились с умеренной доброжелательностью. И он был благодарен, хотя чувствовал себя как транзитный пассажир, сошедший с одного самолета и прожидающий неопределенные часы в аэропорте, чтобы сесть на другой. В жизни чего только не бывает.

В глубине души театр всегда казался ему безжизненным. Он ждал настоящего, чего-то выходящего за рамки, как практичные абстракции Захи Хадид или органичность райтовского «Дома над водопадом». Бутафория театра, пусть она даже без обмана выполняла прямую функцию быть подобием, раздражала. Он утомился от нее уже после первого месяца — ему требовалось что-то реальное. Написать заявление наконец и отвалить от границ этой сомнительной страны вечных капустников.

Он чувствовал себя беспокойно, следовало пройтись пешком, через парк, умиротвориться.

В три начинался спектакль. В половине второго к театру начинали подкрадываться дети. Кольцо детей сжималось. Гардеробщица уже проверяла номерки на пустой пока еще вешалке. Марат спустился в бутафорский цех.

Ручейки детей текли через парк. Еще недавно возвышались в парке облупленные карусели. Их убрали. Только колесо обозрения еще какое-то время скрипело предательски, но все не падало. Его сиротства городские власти не вынесли — и уронили, а потом убрали махину.

Колесо горожане любили неясной, но устойчивой любовью. Его исчезновение, казалось, породило виртуальную, незаполняемую дыру в городской вселенной. Однако недалеко вокруг корчевали старые дома, смешивая память с битым кирпичом и горелым деревом, — и вскоре о колесе, отправленном на металлолом, жалеть перестали. Хотя многие помнили полученный в детстве укол свободы, смешанной со страхом, — а иначе и не бывает, свобода предьявляет свою цену. Марат с приятелями и сам катался на колесе без остановки раз по пять, покупали билеты сразу на несколько оборотов, на сколько денег хватало. Наконец, он добрал до театра.

Агата вела златовласку на кукольное представление. Девочка старательно обходила маленькие лужи, но с восторгом забегала в самые большие. Мать пребывала в мягкой, не тревожной задумчивости и не одергивала ее. К театру малышка пришла в брызгах свежей осенней грязи, заляпалась и куртка, и подол нарядного платья. И только башмачки, принесенные с собою, были чисты. Впрочем, девочка была еще слишком мала и не расстроилась, а излучала довольство прогулкой.

Агата сдала в гардероб верхнюю одежду, и они пошли устраиваться на бархатных креслах с самого краю, чтобы в случае чего, если вдруг девочка начнет засыпать или загапризничает, улизнуть, никого не тревожа.

Спектакль рассказывал малышне старую сказку о Ноевом ковчеге. Больше Агата ничего не запомнила, потому что у нее самой глаза слипались. Ночью она так и не смогла уснуть, переживая свое вечернее видение и неочевидную, вялую ссору с Нольбергом. Златовласка, напротив, выпучила глазенки и засунула в рот сразу четыре пальца — так

она делала в моменты особой заинтересованности. Перед ней прыгали апельсинового цвета львы, лимонно-желтые обезьяны. Расширились черные пределы маленькой сцены. Златовласка прилипла к стулу и смотрела. Агата засыпала.

Конец представления заставил девочку разреветься — звери сошли со сцены в зрительный зал и напугали. Агата открыла глаза.

К ним подошла сотрудница театра в разноцветной жилетке с меховой опушкой и сообщила, что сейчас ребятишкам покажут жизнь театра за сценой. Она позвала златовласку с собой. Девочка перестала реветь, закрыла рот и подала ласковой тете руку. Следом поскакали другие дети. Матери вальяжно, как медведицы, шли за ними.

Агата решила подождать дочь в зале. Она снова задремала. В дреме она двигалась по верху широкой крепостной стены, заросшей светло-зеленым мхом. Внизу колыхались, как трава, верхушки деревьев. Потом белый воздух затрепетал и разошелся, как изношенная ткань.

— Вы спите с открытым ртом, — улыбнулась знакомая человеческая голова.

— А я все думал, кто эта женщина, которая сидит на первом ряду справа и спит...

Агата широко открывает глаза, потому что к ней приближается чужое знакомое лицо. И она уже чувствует запах, смешивающийся с запахом кулис. Это запах клея и лака. И еще апельсина.

— Нам, кажется, пора домой, — говорит она нерешительно, спронеся, все еще не до конца узнавая говорящего. Поворачивает голову, ищет дочь. Куда убежала? Открывает рот, чтобы позвать: — Тоня!

Но вот — раз! — и узнала. Туфли, фонтан. Собака черная бежит во дворе. Виктор рано пришел вчера. Девочку повели осматривать театр.

— Я смешно выгляжу? Дурацкая ситуация, я так с вами согласна! — с жаром сказала она и приложила ладони к щекам, которые вспыхнули от внутреннего огня.

— Я не говорил, что дурацкая.

Смеется. Чего он смеется?

И вот она идет вдоль сцены между кулисами вслед за мужчиной, спасшим ее вишневые туфли. Идет, чтобы забрать златовласку. Им с дочерью пора домой.

Самое опасное для двух людей, случайно вошедших в свободное пространство между кулисами, — почувствовать себя отгороженными от мира, хотя бы даже и на секунду. Мало ли что может случиться в эту секунду. Может быть, ради нее, этой секунды, все и затевалось? Они вынуждены обратить внимание друг на друга. Узнавание таит многие опасности. Иногда лучше остановиться на первом взгляде, на первом случайном столкновении, на единственном неожиданном свидании.

Там, где они идут, справа синяя плотная ткань, слева воздушная белая. В них путаются детские голоса, летающие откуда-то. Агату качает: синяя волна справа, белая волна слева. Как поступить? Хочет сказать: «Посмотри на меня!»

Но, конечно, она ничего не произносит, просто тихо идет следом. Мужчина сам оборачивается. Раздается щелчок, гаснет несколько софитов. Смеются дети — но кажется, что очень далеко. Сумрак заливает широкое пространство сцены. Для непривычного глаза это слишком резкая, обезоруживающая смена плотности.

...Сумрак открыл нам глаза, мы понимали правду о нашем зрении. В сумраке мы теряли ориентацию, хотя различали еще некоторые окружающие вещи. Мы *видели* — но иначе, очень отчетливо. Зрение сосредоточилось на том, кто напротив...

— Все в порядке?

Она закрыла глаза и подалась навстречу голосу.

— Я даже не хотела знать, как тебя зовут.

Глава 9. Вещи

Единственный жилец Каплина дома, бывало, уходил поутру очень рано. На столе корчились, вздыбливались от влаги старые чертежи, исписанные странички, плотный картон. Стол был стар, но хорош, в нем чувствовалась порода. За такими вещами гоняются антиквары. Одна ножка повреждена, но хозяин аккуратно замотал ее скотчем, как бинтом. Стол смахивал на старую преданную собаку. Он охранял здешнее пространство.

Рядом с ним дремал большой истерзанный табурет. Было понятно, что кто-то мастеровитый использовал его как рабочую плоскость: надпилы, ямки, проковыранные инструментом, ожоги украшали его крышку, составленную из толстых дощечек.

Еще был диван — новенький модный предмет, бордовый в белых разводах, будто на него опрокинули гигантскую бутылку с вином и позволили вину вытечь. Диван раскладывался, образуя просторное спальное место. Хозяин предпочитал держать этот предмет в виде кровати, разложенным, в рулон сворачивая постель и накидывая на нее сверху клетчатое покрывало.

В самом углу ютился странный шкаф, наполовину книжный, наполовину платяной. А возле самой двери дремало огромное кресло прошлого столетия, советское бюрократическое кресло, снесенное сюда, как и прочие старые вещи, из разоренных квартир. И возле кресла — электрический обогреватель. Вот и вся обстановка. Вечером на ее убожество проливали особый, таинственный, свет — будто благословляла комнату — старинная настольная лампа из латуни под стеклянным зеленоватым абажуром. Ее Марат поднял, как затонувшую лодку, из пучины гнилого хлама в одном из закутков.

Утром вещи просыпались и ежились от неуютя, однако, если день был солнечный, вскоре распрямлялись и расцветали. Табурет демонстрировал богатырские стати, диван пунцово сиял, стол вытягивался на свету, принюхивался и вилял, как хвостом, свисавшим ламповым шнуром. Лампа уже спала.

Их хозяин тем временем брел по сырým улицам, срезал через двory и переулки, словно блуждал в своих мыслях. Человек еще молодой,

с длинным мужественным, но некрасивым лицом. Может быть, слишком некрасивым — оттого в неудачные моменты оно казалось лицом идиота: глаза небольшие, глубоко посаженные, неопределенного зеленоватого цвета; под глазами не круги даже, а темные овраги; большой лоб. Шкаф, в платяной части которого было устроено зеркало, отражал, было дело, людей куда красивей.

Такой вид часто до старости сохраняют «щипцовые» дети, подавившая лампа. Уж она-то много чего перевидала, освещая самые темные уголки человеческих судеб.

Однако же была у этого лица одна счастливая, подавляющая прочие, особенность — улыбка. Обычная, или, может быть, приятная на обычных средних или красивых лицах, на этом лице улыбка сияла счастливейшим шедевром. Это была одна из тех редчайших улыбок, которые имеют особое значение, которые преображают, которые вдохновляют. Когда человек улыбался, лицо начинало дрожать, как водяное зеркало, расходились волны и под ними гладко и победно выступала истинная человеческая природа: благородство и доброта. Вещи верили в это.

Лицо содержало какую-то романтическую иллюзию, воспоминание о чем-то славном. И многие люди, посмотрев на него, испытали бы некое дежавю: туман позабытой отваги, в закоулках памяти резкие запахи и чужеродные звуки времен иных. Оно как нельзя лучше подходило к этому дому, который крепился, сохранял благородство и не готов был погибнуть. Словом, в единственном жильце Каплина дома, при всей его скромной внешности, была способность пробуждать в окружающих особенное, спрятанное зрение, напоминать о чем-то смутном и прекрасном, которое, без сомнения, живет в каждом, но, увы, не в каждом находит выход.

Короче, дому и предметам в доме жилец нравился.

В то утро Марат доехал до остановки «Областная больница», дошел до корпуса ожогового центра, нацепил бахилы, взятые в пластиковом баке, и поднялся на второй этаж. Здесь царил густая смесь запахов — нездоровой плоти, хлорки и цитрусовых. Двери во многие палаты были распахнуты.

— Если в книжке никого не убили, значит, дурацкая твоя книжка! — утверждал человек с красной лысой головой, обращаясь к горбатой соседней кровати.

На кровати, неразглядимый под двумя широкими одеялами, концы которых спускались до полу, кто-то ерзал и тихо не соглашался.

Палата была слишком светлая: стены, пол, белье, кусок белого света, видный сквозь чистое окно. Марат наткнулся взглядом на ослепительный холодильник и завис в дверях.

— Тебе кого, малый? — красная гладкая голова повернулась к двери лицом, на котором гофрой собрались глубокие и тоже красные морщины.

Марат смотрел на голову, пытаясь определить причину красноты. Голова затарахтела без пауз:

— Иванова? Петрова? Кошкина, может? Кошкина тебе, что ли? Ну вот и к Кошкину пришли. Эй, Михалыч, вылазь из-под своих покровов, гляди, пришли к Кошкину!

Горбатая кровать ожила. Из одеял показалась головешка маленькая, в белом стариковском пуху. Старичок вылез, быстро и неслышно подошел к Марату и протянул коричневый стручок ладони. Марат с радостью пожал тонкую ладошку. Через пожатие он становился свой и теперь мог перешагнуть порог.

— Вот его кровать. Садитесь, садитесь, — интеллигентный старичок усадил Марата на железную койку в углу.

На тумбочке стояла банка, в банке — крошечный кипятильник. Знакомые ботинки подпирали дверцу. Точно, к Кошкину. Значит, фамилия у бродяги есть — Кошкин.

Старичок уже звенел кружками — он повесил их на растопыренные пальцы и пошел в угол палаты, к раковине.

— Маня сейчас приедет.

— Маня?

— Кошкин. Он сейчас будет. Хорошо, что вы заглянули. Вы родственник? Он загрустил что-то. До места, видать, не дошел, обратно привезли. — Старичок завернул кран и стряхнул воду с кружек.

— А почему вы сразу решили, что я к Кошкину?

— Так не ко мне и не к нему. А третий у нас Кошкин, Маня Иванович. Так что к нему. Хотя к Мане никто не приходил раньше, мы не видели... — Старичок примолк.

— Почему — Маня?

— А Бог его знает. Как назвали, так зовут. А вы ему все-таки кто? — насторожился красноголовый, шуршавший до того чем-то в тумбочке. И он, и старик, уже разливающий чай из стеклянной банки, уставились требовательно.

— У меня к нему дело. — Марат мучительно соображал, какое может быть у него дело к Мане Кошкину, бродяге, пригревшемуся у печки в его доме. Он и себе внятно не мог объяснить, зачем пришел сюда, зачем разыскал этого человека. Просто почувствовал какую-то надобность.

— И что за дело такое? — старичок, недоверчиво покачивая головой, оставил приготовления к чайной церемонии, обратно в тумбочку засунул пакет, содержащий, видимо, снесь. И уселся на свою кровать. И замолчал, ожидая объяснений.

Тут в палату въехал Маня Иванович на рыжей инвалидной коляске, мрачный, как демон. Марат узнал своего гостя по свитеру, который одолжил. По лицу не узнал бы, тогда в темноте не разглядел лица. Маня Иванович поздоровался, объехал Марата, доехал до окна, где замер спиной к присутствующим. Все молчали: старичок и красноголовый — от возрастающего недоумения, Марат — от неловкости, проклиная себя, что заявился к неизвестному человеку с неопределенными целями.

— Кошкин, ты чего сегодня невежливый? Гостя не встречаешь! — красная голова закачалась, как мак на ветру, не сводя, впрочем, подзрительных глаз с Марата.

Голос Мани Ивановича (Марат выдохнул — по голосу узнал: точно, тот самый мужик, что подпирал его печку) в ответ зазвучал остро, с обидой:

— Что-то ты, Гоша, расшутился сегодня. Смотри-ка, и я пошучу...

— Человек к тебе пришел, а ты, наглая харя, отворотился. И злитя еще, смотри ты!

— Здравствуйте. Я действительно к вам. Вы у меня ночевали недавно.

Рыжая коляска резко развернулась. И на Марата уставилось измученное лицо.

— А, хозяин! — Потухшие глаза наполнились удивлением, и губы Мани Ивановича искривились вроде бы как в улыбку. — За одежкой пришел? Щас соберу. Погоди... — Человек в коляске засуетился, перебирал руками колеса, лихорадочно бормотал.

— Да нет, нет! Не за одежкой. — Марату пришлось повисить голос, чтобы среди бормотания Мани Ивановича, который был явно не в себе, его услышали.

— Стой, инвалид! Харэ кататься! Стой, говорю! — на выручку Марату пришел красноголовый Гоша, который схватил коляску за спинку, остановил, развернул.

Маня Иванович дернулся разик, но взял себя в руки. Смотрел потухшим взором мимо всего одушевленного и ждал. Суетливость и беспокойство покинули его так же внезапно, как и посетили. Он обмяк. Сдувается как шарик, пришло Марату в голову. Мешки под глазами провисли вялыми волнами, углы губ опустились, словно держались раньше на веревочках, но вот кто-то отвязал эти веревочки. Картофелина носа съежилась, одрябла. А ведь Маня Иванович еще не был стар.

Марат опустил глаза. Одна нога Мани Ивановича стояла на подножке короткой, но все же отчетливо удлинненной ступней. Вторая белой толстой культей колола пространство.

— Я просто хотел узнать, как дела, и вот, передать... — Марат осторожно положил на кровать белый пакет с разными витаминными и питательными вещами, а на тумбочку — бумажку, на которой заранее на всякий случай написал адрес и телефон.

Старичок одобрительно покивал головой. Маня Иванович в своем кресле не шевелился. Он думал о долгой дороге, которую ему придется преодолеть. Думал, насколько дольше придется идти на казенных неудобных костылях, которые ему, как обещал доктор, выдадут вскоре. Эта зима представлялась ему невысказанно трудной.

Марат попрощался и вышел. Сердце у него щемило от того, насколько незащищен может стать человек перед жизнью.

Обратная дорога показалась очень длинной. Может быть, потому, что часть пути ехали в тумане — река сильно парила, скрывая небо и острова по обеим сторонам моста.

Наступило время вполне холодное. И снег уже пробрасывал¹. А однажды утром покосившееся черное крыльцо Каплина дома хорошенечко

¹ *Пробрасывал* — здесь: начинал идти время от времени, шел недолго или с перерывами.

выбелилось. Ненадолго, до полудня, но все же. На него, испуганно ойкнув от такой чистоты, ступил Маня Иванович одной ногой своей и двумя деревянными — костылями.

На нижней ступеньке лежали круглые красные листья. Их натрясло с маленького куста, названия которому не знал даже такой природный человек, как Маня Иванович. Он, кряхтя, устраивая поудобнее свои горемычные ноги, уселся на ступеньку и поднял большой красный лист.

Когда-то — но об этом Маня Иванович не знал — на этой нижней ступеньке, выпуская изо рта тонкую красную струйку, по цвету очень схожую с листом, лежала, вывернувшись неестественно на тонкой белой шее, голова Домны Тимофеевны, купчихи Каплиной, молодой, влюбленной в своего пожилого мужа. Рядом, на клумбе, дергался сам Каплин, с ладонями в собственной густой крови, натекающей из треугольных штыковых ран. Он дышал из последних сил широким зубастым ртом, и кровь казалась ему слишком вязкой, липкой. Как она может такая течь, как может передвигаться, не слепляя сосудов, сердца? Он сжимал и разжимал пальцы, пробуя ее на липкость, удивлялся по-детски, снова склеивал пальцы — пока не умер.

Трупы потом оттащили на старое кладбище и сбросили в яму. И те, кто тащил, хладнокровно любовались на мертвую Домну.

Дом, который так навсегда и остался Каплиным домом, разорили и передали многим и многим жильцам вместе с обстановкой, вещами, предметами. Жильцы со временем выехали без одного все — по очереди на улучшение жилищных условий. Последней была Евдокия Каплина, и она никуда не съехала, скончалась здесь, среди старья, набитых мусором и вещами кладовок и комнат, — жильцы многое оставили, потому что это был старый хлам, чужой, не родной. Но до того еще, однажды, каким-то внезапным приказом, не без участия старухи Каплиной, дом был записан в памятники истории и архитектуры. И, ненужный, но одновременно и неуничтожимый, он терпел свое путешествие во времени стоически, крепился, хотя в последнее время немного ослеп — стекла замутились, кое-где заменены были фанерой. И случайный приют в нем оттого, наверное, и был таким теплым, будто бы даваемый из последних сил.

Конечно, Маня Иванович, обычно не склонный к отвлеченным рассуждениям, не знавший про дом ничего, лаская грубой ладонью очищенную от листьев ступеньку, имел о нем свои мысли. Которые, если хорошенько подумать, не противоречили бы истине. «В чем есть суть дома для человека?» — вопрошал то ли себя, то ли пространство Маня Иванович. Суть дома — это священная радость продолжения, а также и светлая печаль воспоминания. Человека и человеком-то назвать можно, если у него есть дом, а без родины и флага ты песок, лежащий, куда принесло.

Уж он-то, бродяга, мог об этом судить, — думал и затягивался сигареткой. Утерял — и жизнь мимо пошла. Сам, короче, мозолистыми руками все и порушил. Я смехотворен, констатировал Маня Иванович, обиженно озирая подернутые ранним снежком окрестности. Потом

поднялся и не стал стучать в дверь, хотя затем и пришел. Он спустился на землю и поковылял от этой чистоты в неопределенную даль. Крыльцо вопросительно скрипнуло ему вслед.

Глава 10. Странники

В алкоголике Дягилеве была одна светлая черта — зубы. Все остальное представлялось неясным темным пятном, которое размещалось возле костра, составляя контраст пламени.

— Родители мои были — чистейший рафинад. Я потомственный интеллигент. А это — как прикус. Но исправить можно. А вы, благородный бродяга, как считаете?

Дон Педро, приземистый, кряжистый, но с героическим римским профилем, достойным какой-нибудь древней монеты, чесал переносицу и, часто моргая, отвечал:

— Согласен с вами.

Появление Дона Педро, человека нетривиальной внешности и необычайной покладистости, в жизни Дягилева носило характер авантюрный и поэтому придало тому в глазах Дягилева, падкого на истории, сверкающий ореол: Дон Педро романтически, как Зорро, соответственно своему героическому профилю, сбежал из полицейского «уазика», скрылся и нашел приют на металлобазе. Он был, конечно, романтик, да еще, видать, отчаянный. Дягилев был падок на образы.

Мама, выгнав папу Дягилева как несознательного, не отвечающего ее требованиям (о нем Дягилев ничего и не помнил), скромно влачила библиотекарьские будни в заводской библиотеке. Все детство поэтому он провел под тяжким грузом литературы, которую мать настойчиво, часто посредством ремня, рекомендовала отпрыску. Женщиной она была деревенской, упорной, и маленький Дягилев вынужден был изучать жизнеописания Карениных, Идиотов и прочих вымышленных существ. Он мало что понимал, но быстро набрался словечек и научился пускать пыль в глаза хорошей речью. В свободное время маленький Дягилев предпочитал истории о Тарзане, а еще о пиратах — Блона, Стивенсона, Сабатини. Мать такое убожество не одобряла.

Она гордилась сыном, потому что, справедливости ради стоит сказать, годы, проведенные в педагогическом колледже, сама потратила лишь на то, чтобы научиться писать без ошибок. На полноценное освоение программы по литературе у нее не хватило ни времени, ни одаренности. И когда в библиотеку приходили читатели и спрашивали, про что книга, она часто не могла ответить. Приходилось делать загадочное лицо: прочтаете — узнаете. Экземпляр книжки она потом тащила домой и отдавала сыну. Сын, она была в этом уверена, должен прочесть все. Прочитанное он пересказывал ей, как умел, на своем детском языке.

Когда настало время распорядиться собой, Дягилев свинтил из дома в общежитие Политехнического института. Он поступил на автомех. Мать ругалась неопикуемой бранью, потому что видела сына гуманитарным

профессором. Но сын, претерпевший от Карениных и Идиотов, любил железные изделия и не склонен был к ученой меланхолии.

Детские его муки прошли не совсем даром. Он бросил институт, и после того, как много лет спустя оставил и честный труд в гараже отделения Академии наук, отчалив в свободное пьяное плавание, детские познания пригодились. Лет десять нигде не мог он надолго прищавтаться. Но во всех своих случайных портах, на всех своих стоянках он заслуживал себе славу как отменный рассказчик, пересказывая прочитанное, — и тем был сыт и за то бывал не бит.

Мать умерла, но дома Дягилев принципиально не жил, квартиру сдавал. Состарившись к пятидесяти пяти, болея всем организмом, Дягилев обитал на свалке, в подвалах, в последнее время на металлобазе, но домой не возвращался. За деньгами к квартирантам ходила старенькая соседка. На глазах у этой соседки Дягилев превратился из живого сообразительного мальчугана в почти уже мертвого алкоголика. Она была свидетелем этого грандиозного провала.

— Тебе бы в тепло. Загнешься ведь! — уговаривал его и Дон Педро, когда Дягилев особенно загибался от мучительных своих болезней.

— Это уж дудки! Это неприкосновенно! — Дягилев, не успевая прояснить, что именно неприкосновенно, начинал хрипеть, закатывал глаза, и казалось, что скончается сей момент.

Но выдюживал, воскресал словно бы. Шел в баню.

За время болезни Дягилев обычно обрастал волосами и грязью, начинал, как в бреду, крепко ругаться — словно и внутри, и в душе у него все затягивалось черной паутиной. Становился он похож на темный ком с оскалом ослепительных, чудом сохранившихся зубов. Из бани возвращался ясный, и только в этот час можно было увидеть настоящую внешность Дягилева. Он был смуглый, как и все люди, живущие круглый год где попало, лицо его разбухло, как семечко, долго лежавшее в воде, щеки повисли, как у старого пса. Огромные синие мешки под длинными глазами подчеркивали нежную голубизну последних. Радужка потеряла четкие контуры, и казалось, что весь глаз у Дягилева — голубой. В зависимости от освещения и от состояния хозяина это было похоже то на бельма — когда он бывал пьян, то на очи фантастического существа — после бани.

— И чего дома не живешь? Пустил кого попало, а сам слоняешься. Что дальше с тобой будет, не думаешь? — досадовал Дон Педро, ближайший приятель, когда Дягилев в очередной раз выкарабкивался. Дон Педро имел маленькую надежду, что если Дягилев вернется домой, то, не привыкнув к бытовому одиночеству, позовет с собой и товарища.

— А это, знаешь, еще как посмотреть. Кто тут «кто попало», а кто и не «кто попало». Я пока этот самый «кто попало» и есть. Вот так-то, амиго! — загадочно отвечал Дягилев и шел «исполнять танец маленьких утят», как он называл эту процедуру. То есть рассматривать себя в зеркало. Он всякий раз старался установить степень желтизны своей кожи, диагностировал себя. Чем желтее, тем хуже работает печень. Он

видел немало таких, как он выражался, «утят смерти». Чувство юмора редко отказывало ему.

Дон Педро подозревал какие-то старые тайные связи, каких-то детей Дягилева, которые проживают в квартире. Но у Дягилева не было никаких детей, во всяком случае ему самому известных. Педро и в голову прийти не могло, что Дягилев говорит напрямую, вещи называет своими именами и в виду имеет следующее: он и есть для материнского дома «кто попало», станет жить — и проплет, как бесчувственный, потерявший себя забулдыга. Проплет сначала обстановку, а затем и стены. О будущем Дягилев как раз и думал — и только о нем: когда почувствует, что силы его оставляют, когда поймет, что завтра уже может и не встать, то сдаст квартиру в обмен на место в доме престарелых и поселится оседло, навсегда. Чтоб умереть и быть похороненным — в гробу, под памятником, желательно гранитным, на котором будет стоять его, Дягилева, имя и даты рождения и смерти. Он хотел быть уверен, что его смерть зафиксируют в какой-нибудь книге актов, тем самым увековечив его, Дягилева, для человечества. Более всего он боялся сгнить, как сгинули многие его приятели: как неизвестные, в полиэтиленовом мешке, под серой плитой с цифрами — с номером покойника — на кладбище для безродных. А то и вообще неизвестно где.

Этот страх граничил с фобией. Дягилев как бы временно пребывал в этом мире, здесь ему не нужен был дом, это был путь — с привалами, с бивуаками, со всеми возможными временными пристанищами. Он проходил этот путь, проживал свою жизнь. Но потом, на крайнем берегу, на самом крайнем, у воображаемого моря, где дальше видна только вода, благословенная, вечно подвижная живая пустыня, он не сможет без дома. Можно сказать, что Дягилев берег свою квартиру именно для того, чтобы обменять ее потом через дом престарелых на памятник — или хотя бы крест — со своим именем.

Дону Педро неизвестно было о долгосрочных планах приятеля. За них он бы его не простил. Ему давно надоело существовать сорванным с дерева ненужным листиком. Он обрел свою навязчивую идею — оставить помойное житье и каким-нибудь чудом снова втереться в общество, найти работу и прочее. Оставался один вопрос — где ему проживать в этом случае. Дон Педро надеялся на Дягилева. В глубине души он вынашивал и рискованный запасной план: пойти и поздороваться с женой, женщиной беспокойной, очень громкой — если сказать по правде, истеричной. Она с их общим сыном пребывала на их общей жилплощади уже много лет и отказывалась разменивать квартиру, а Дон Педро — для жены просто Петька — никак не мог набраться смелости настоять на размене. Был он слишком уж покладист, несмотря на свой профиль.

Маня Иванович наблюдал за приятелями. Он не пил уже три дня и восемь часов — из соображений уважения к грядущему. Выйдя из больницы, не удержался — отметил событие, а заявиться в таком виде к хозяину дома было стыдно. Поэтому-то и не стал задерживаться,

посидел на крыльчке, покрутил листик, обдумал — и пошел приводить себя в порядок, хотя было непросто добраться до свалки.

Когда он рассказывал об этом Дягилеву, то багрово краснел.

— Значит, скоро увидим небо в круассанах! — издевался Дягилев.

Небо в круассанах символизировало райское блаженство, а в переносном смысле — белую горячку. Он считал, что хорошо знает Маню. Предрекал ему запой после вынужденного воздержания. Но в этот раз он ошибался. Мане Ивановичу слишком хотелось вернуться в Каплин дом — и чистым, трезвым.

Дона Педро и Дягилева встретил Маня Иванович некоторое время назад в пункте приема металла. Тогда Маня Иванович страдал. Он насобирали не очень много банок, денег за них явно не хватало на выпивку.

— Слышь, братва, добавьте! На водку не хватает, не на круассаны, — сказал тогда вконец измотанный похмельем хриплый, весь пересохший Маня Иванович. И взглянул.

Дон Педро молча вынул бутылек из кармана куртки. Дон Педро, бывший физик, а ныне скорее химик, ловко соединял и очищал разные химические составы, которые годились для распития — и теперь слушал, как булькает в горле Мани Ивановича, и вздыхал. Ему было немножко жалко содержимого фляжки, но бросить человека в беде он не мог.

Вот оттуда, от первой встречи, и пошла острота Дягилева о круассанах. Но Маня Иванович на такую памятьливость не обижался. Небо в круассанах — очень даже ничего, сытно, благородно. Хорошо. Маню Ивановича неудержимо влекла жизнь. Он был страшно благодарен Дону Педро за фляжечку, а Дягилеву — за приют.

— Люди! — благодарно и восхищенно воскликнул тогда, и точно так же воскликнул сейчас Маня Иванович, выставив верх указательный палец. Он имел в виду и себя, способного сопротивляться своим демонам.

В землянке у Дягилева Маня не задержался, хотя места на троих и хватало.

Через несколько дней после прихода Мани Дягилев уехал в деревню к дряхлой тетке, единственной своей родне, прихватив и Дона Педро. А Маня Иванович, поживши один, приведя себя в достойный вид, снова приковылял к Каплину дому. Сел на крыльцо и теперь не спешил уходить. Новенькие костыли положил рядом.

Жизнь Мани Ивановича была решена. Всю ее он видел теперь связанной на этом доме. Потому что можно было бы пойти в собес и там выклянчить приют. Но в приюте для инвалидов теряется вся последняя радость, вся последняя надежда. И как ему сообщить хозяину о том, что он намерен расположить здесь свою судьбу? Тем более Маня Иванович был не очень вежлив при последней встрече, в больнице. Надо бы извиниться заодно. Напрашиваться не хотелось, а вот сказать — пришел извиниться, другое дело. А там, в беседе, кривая как-нибудь вывезет на главную тему.

— Здравствуйте, господин Кошкин! — раздался голос.

Маня Иванович подтянул костыли, поднялся.

— Я... это... зашел носки вернуть. Мне уже не надо.

Глава 11. Поселенцы

Маня Иванович воцарился в квартире напротив. Марат был этим доволен. Он ждал, когда бродяга снова явится. И был уверен, что тот явится. Странное побуждение — чтобы был сосед, пусть и такой неоднозначный, возникло, когда стало ясно: дом абсолютно годен для проживания.

В жилище, определенном Мане, царил живописный хаос. Оно состояло из двух комнат и закутка-кухоньки. Оставленная хозяевами мебель сдвинута как попало, резной буфет, неаккуратно и не раз крашенный, выдвинут в середину комнаты побольше, поломанные стулья закинуты на верх буфета. Тряпки закрывали батареи, среди тряпок — вышитые платки, нечто кружевное, замызганное, застиранное глупой рукой. Из подставки для зонтов торчал поломанный зонт с нанизанными на него газетами. Марат снял верхнюю.

— Свежая пресса двадцатилетней давности.

Маня Иванович нашел интересный объект — хромоногий стул. Взыграла мастеровая жилка. Он вытребовал у Марата инструмент, какой нашелся. И при скудном техническом оснащении подступил к стулу.

Странно было видеть эти вещи — годные к использованию, но порченные, будто специально, грубым ремонтом, нелепой покраской.

— Ниче, все починим, — вдохновенно трепетал Маня Иванович над стулом.

Комната к вечеру приобрела более или менее жилой вид; мебель, какую можно было использовать, расставили по местам. Маня и с костылем был довольно ловок.

Неочищенной оставалась только кладовая, которую мужчины нечаянно обнаружили в закутке, имитирующем кухню, отодвинув пенал-развалюшку. Марат открыл дверку, прикрашенную, прилипшую к стене. Оттуда посыпались папки, газеты, исписанные какие-то листочки. Письма.

«Дорогая Лизочка! Невозможно себе и представить, что я пишу тебе это письмо после всего. Десятилетия примирили меня с произошедшим, но и не менее измучили. Я вижу во сне отца, и все чаще. Видела однажды и Домну. Как же мы были к ней жестоки! Я не могу не вспоминать этого. Как жестока к ней была тетка Татьяна Яковлевна (она очень злилась на всех после маминой смерти, но оно и понятно — все-таки любимая сестра), а мы позволяли ей изводить Домну в отсутствие папы. Мама бы нас не одобрила. А мы могли бы вмешаться, я уверена.

Мама мне не снится, я ее почти и не помню. Говорят, снятся те, перед кем сновидец виноват. Я виновата перед папой и Домной. Я виновата перед всеми вами. Я знала ведь, что *они* придут. По-прежнему хочется этот груз с души снять, уж ты меня извини за непрошенные переживания.

У Маши Тышкевич мы спрятались в кабинете отца ее, за книжным шкафом, и разглядывали запрещенные нам, детям, книги, когда отец Маши пришел домой. Он был, ты помнишь, каким-то командиром у них. С ним — еще двое, в солдатской, не разберешь каких войск, форме. Я слышала, как они говорили о папе. Неразборчиво, но имя папино слышала. Потом ушли. Мне следовало немедленно бежать домой, немедленно рассказать! Но мы с Машей, а более всего Маша, боялись ее отца. И досидели в своей засаде почти до вечера. Потом поздно было. Я к вам прибежала, а они уже пришли.

Лизочка, я прощения не прошу. Потому что сама себя простить бы не смогла. Я знала, что тебя и Саню отправили в детские дома, разные. Старики Думочкины меня приютили и выясняли потом для меня, где вы. Но так и не осмелилась, помня свою вину, я навестить кого-нибудь из вас. Потом я узнала, что умер наш Санечка, и стало совсем невозможно искать тебя. Ведь он умер, можно сказать, из-за меня — так рано, в каком-то холодном-голодном детском доме. А он был такой обжора, ты помнишь, как он таскал пирожки у няни Ольги?..»

Письмо обрывалось.

На волнах разлинованного листа воскрешались тени, вызванные к жизни читающим. Сто лет прошло, кто бы мог подумать. Марат осматривал бумагу, соображая, когда письма могли быть написаны. Писавшая была, вероятно, уже стара — почерк, в котором усматривалась хорошая каллиграфическая школа, ослаб здесь, был нетверд. В соединении букв, в неустойчивом их наклоне дрожал, заявлял о себе возраст. А может — горе.

«Дорогая Лизочка, когда вспоминаю о тебе, я плачу. Как прекрасно было наше ученье! Ты совсем малышка, но такая сообразительная. А помнишь кисточки на портьерах, золотистые и голубые? Это ведь я срезала все золотистые, хотела украсить ими кукольное покрывало. Это мой маленький детский грех.

Лиза, можешь ли ты представить, что живу я в одиночестве в отцовом — в нашем — доме! Трудно вообразить большее для меня наказание.

Сложилось у меня поначалу не очень. Жила у Думочкиных. Их младший, Костя, ты его еще дразнила за румянность, жених мой, утонул. Замуж не вышла. И вот вся жизнь теперь — одно воспоминание для такой старухи одинокой, какой теперь является сестра твоя Евдокия Каплина».

«Вся жизнь, Лиза, прожита в отчаянии. И оно меня сломало. Оно раздобрело, разрослось, заместило для меня все прочие человеческие чувства. Вела счета в Облпотребсоюзе, дослужилась до главбуха. Квартиру отличную, благоустроенную дали. Да все не в радость. Все механически живу. Домой с работы иду — смотрю на дом наш. Парадное крыльцо развалили да перестроили на простой манер. Балкончик едва, непонятно на чем только, держится. Лавочку с торца пристроили, там всегда кто-нибудь сидит. И можешь ли представить, кого я однажды увидела на этой лавочке? Машу Тышкевич! Она (что за злая шутка судьбы?) оказалась

здесь — вышла сюда замуж. Они с мужем занимали квартиру в дальнем коридоре, где комната няни Ольги и классная. Маше было плохо здесь, из-за нас отчасти. Чувствовала и она вину — за своего отца. И умерла. Ходила я на похороны. У нее никого не осталось: ни детей, никого. Ее лицо мне под старость снится — мертвое уже. И отчаяние возвращается. Комната няни Ольги, кстати, всегда мне казалась удобной и теплой...»

«Кругом в папином доме — люди, чужаки. И я чувствую себя припадением, осколком из прошлого. Но дом давно уже расселяют, он освобождается. И, может быть, настанет время, когда он будет пустым.

Лиза, мне кажется, я пропустила всю свою жизнь. Не могу избавиться от этой мысли. Может быть, потому что готовлюсь к больнице, проверять сердце. Никого нет у меня. Только ты. Помнишь, Саня спрятал при наших проказах Домнино кольцо, да сам и забыл куда. Так и не нашли. Папа Домну утешал потом, она плакала, говорила: не к добру. Папа посмеялся: суеверия. И купил ей другое. Которое потом сняли, когда ее потащили. Большое кольцо с изумрудом, камень обняла крылышками птица. Модерн. Один увидел и бросил тело, чтобы кольцо снять. Оно в грязь упало, он ругался и шарил по земле руками. Перед глазами все. Не забуду».

«Я много лет ищу папину и Домнину могилу. Думочкины рассказывали, что их и других вместе с ними похоронили в общей яме под кладбищенской горой. Архивы открывают, я написала в ведомство. А самой по архивам шастать нету сил. Едва дохожу до церкви.

Батюшка служит молодой. Смотрит на меня близоруко и сказать что-то хочет как будто. Как будто бы он даже похож на отца Павла, который венчал папу и Домну. Волосы темные, орлиный нос, на абрека похож, не на священника. Няня Ольга на отца Павла все заглядывалась, да он же был монах. Думаю об одном — вся моя жизнь закончилась тогда, за шкафом в квартирке Тышкевичей. Я призрак среди живых. Если бы вы могли узнать обо мне, о том, что я жива, и написать или приехать! С адреса вашего, видимо старого, письма возвращаются мне. Невозможно...» Дальше — размыто.

«На втором этаже в наших спальнях, еще поселились учителя, временно. Ждут квартиру в благоустроенном доме. Все, что и говорить, хотят уехать. Для них здесь пустой, холодный быт без достаточных удобств. Они даже и мебель не покупают, пользуются той, нашей, что в доме осталась еще с тех времен. Много разрушено, но кое-что осталось.

А на одной жилище я обнаружила Домнин платок и мамыны кружева. Раритет, антиквариат, говорят. Сперва вспыхнула, хотела отобрать. Но взяла себя в руки. Это же вещи. Они — есть, хозяйки мертвы. Где эти вещи пребывали все это время? Кочевали десятилетиями по людям, по дому. Вот я с ними встретилась, как с прошлым».

«Пишу тебе сообщить, что дом окончательно расселяют. Приходили чиновницы. Я отказалась выехать, высказала им обеспокоенность судьбой

дома. Они утешали, что хождения мои по инстанциям успешны, что он записан как исторический памятник, пример купеческой усадьбы. Одна меня наругала — мол, у вас же, уважаемая старуха, есть квартира, а вы здесь сидите. А я сижу, я же наследница Маши Тышкевич. И молю Бога, чтобы они забыли обо мне. Ну отчего бы им, в самом деле, не забыть о скучной старухе?

Может быть, для того Господь и оставил меня в старости еще бодрой, чтобы сохранить наш дом. Может быть, это моя возможность искупить свою вину и перед вами, перед папой, Домной. И мамой, которой было бы больно от моей детской трусости, я уверена.

Мама приснилась мне на днях. Она стояла в фате, как невеста. Помнишь ли ты, как горевал папа, когда мама умерла? Домна была ему в дар за то, что он был добр и щедр, а мы, дети, этот дар из ревности отравляли. Бедный папа!»

«Живем тут вдвоем, я и пес, то ли приبلудный, то ли был чей-то, а хозяйева съехали, бросили его. Клички не знаю, зову Чернышом — крупный, весь черный, жуткий с виду, но спокойного нрава. Охраняет меня, провожает до магазина, ждет.

Греет лишь одно на закате дней — что умереть я смогу здесь. Что бы ни случилось, поручила знакомым, чтобы вынесли меня отсюда и напрямиком на кладбище, никаких ритуальных залов. Все мое перейдет кому-нибудь из твоих детей, а может, и внуков. Нужно ли оно будет им, не знаю. Но поступить иначе не могу.

Люблю тебя, Лизочка. Твоя сестра Евдокия».

Глава 12. Сашка

Прабабка Лизочка Каплина приснилась Марату. В толстом сером платке на детских плечиках, под которым — оборки, банты. Она сбегает с лестницы второго этажа, морщит нос оттого, что солнце, врываясь в окно, щекочет ей лицо. Снизу, с первого этажа, на нее смотрит другая прабабка, Евдокия, подобранная сухопарая старуха. Смотрит, но не видит — Евдокия слепа. У ног ее сидит черное животное, то ли пес, то ли волк, — поводырь. И тоже глядит на него, Марата.

Он проснулся оглушенным.

В этот момент Маня Иванович и вторгся к нему без стука. Он тащил за шиворот существо белобрысое, чумазое и шумное. Существо брыкалось, намереваясь выбить у дядьки костыль, но ручищи Мани Ивановича прочно удерживали и то и другое.

— Ну вот, вытащил из шкафа! Новый жилец, што ли? — Маня Иванович запер дверь и отпустил существо, которое тотчас заметалось по комнате, ища выхода.

Марат тем временем оделся. И когда белобрысое пролетало мимо, схватил, чтобы получше рассмотреть. Существо оказалось пацаном, достаточно неряшливым, чтобы сойти за беспризорника, но достаточно смышленного вида, чтобы сойти за умника.

— Ну? — Марат улыбнулся и потряс мальчишку.

Мальчишка улыбнулся и вырвался. Но убежать больше не стал, вытер руку о штаны и протянул лопаткой:

— Сашка. Александр то есть.

— Марат.

— Сашка. — Пацан обернулся к Мане.

Маня Иванович ухмыльнулся и освободил ладонь. Сашка бесстрашно пожал красную ручищу. Взрослых он не боялся.

— И что ты здесь делаешь? — поинтересовался Марат.

— За тобой наблюдаю.

— И давно наблюдаешь?

— Ага.

Пока шел разговор, Сашка-Александр слопал пачку печенья и выпил два стакана молока. Марат и Маня Иванович дивились тому, что к ним залетело нечто такое непосредственное, детское.

Новый знакомец наконец решил, что для первого раза хватит.

— В школу надо сегодня сходить. А то бабка с ума сойдет, а то еще и по башке треснет. Выпустите!

Марат сунул в карман Сашкиной куртки непечатую пачку печенья:

— Ну давай. В другой раз заходи.

Мужчины остались одни. Маня Иванович полез за куревом. Марат смотрел сквозь грязное стекло на уходящего парнишку.

— Маня Иванович, обустраивайся, мебель сооружай. А я погуляю.

Маня Иванович, человек понятливый, увидел исписанные бумаженции, старые видать, совсем желтые, разбросанные по комнате. Оценил выражение Маратова лица.

— Давай-ка я пока яишенку соображу. Колбаса имеется?

Марат улыбнулся, отодвинулся, открыв Мане Ивановичу доступ к холодильнику, и вышел.

На улице кряхтел ветер. Пробирало холодом землю, и она, кажется, дрожала. Вот здесь лежал Каплин, а где-то здесь — Домна, подарок небес. Их кровь впиталась в крыльцо, в почву, на ней и выросли, может, и эти обильные черемуховые и сиреневые кусты, и красные ягоды рябин суть ее отражение. Невозможно оставить все это теперь, невозможно отделаться и уйти — перекантоваться здесь и все потом бросить. Марат, конечно, примеривался восстановить дом по старым чертежам, сделать жилым. Но прежде это была лишь догадка о том, что следует сделать. Теперь, с этими письмами, пришло намерение.

След юного утреннего гостя давно простыл. По дороге уходил какой-то мужчина. Марату показалось, что это купец Каплин, передав наконец дом в надежные руки, уходит в свою страну на покой, к мосту, за которым туман, и буйная полынь, и чье-то детство. И огромный волк встречает на той стороне своего человека. Так представилось Марату. Умиротворенный и вдохновленный этой фантазией, он вернулся в дом.

Сашка, кстати, соврал — ни в какую школу он не собирался. Сегодня он, по плану, как раз ее прогуливал. Отбежав от Каплина дома

на почтительное расстояние, Сашка спрятался за крупным деревом и выглядывал, наблюдал за Маратом, прижимая куртку плотно к бокам, чтоб не поддувало. Обитатели Каплина дома ему понравились.

Про бабуку он не соврал — бабука бы ему точно накостьляла. Ныла бы весь вечер. А потом бы еще к психологу повела. Хуже психолога ничего не придумать! Толстая тетка смотрит на него как на психбольного, разговаривает жалостно и все время вздыхает. А Сашка ей хамит или вообще молчит весь сеанс.

— Александр! Стыдись так себя вести! — это визгливое существо, называвшее себя его бабушкой, всегда обрушивалось ливнем причитаний после этих глупых сеансов.

Причитания носили характер обвинений и угроз, потому что Сашка был единственным, кто мог ответить за грехи своей родительницы, блуждавшей где-то во вселенной. Сам он мог бы усомниться, что родительница вообще существует, поскольку вживую ее никогда и не видел. Но бабука, мать, регулярно напоминала ему о ней, кляня и понося. Сашка был для бабуки прямым доказательством ее, бабукиного, горя, которое она когда-то сгоряча назвала Виолеттой. И поскольку таким образом он соотносился с ним, с горем, то отчасти был за него и в ответе.

Бабука была еще не старая, а прямо даже почти молодая, сорокавосьмилетняя дама. Она неплохо сохранилась, имела еще талию, любила леопардовый принт и пышные прически. И время от времени Сашка даже думал — а вдруг это его мама просто притворяется зачем-то бабушкой. Но в этом случае в его сердце закрадывалась печаль оттого, что все матери любят своих детей, а его мать-бабука его не очень-то любит. Так что пусть лучше остается бабушкой, родственницей более посторонней, чем мать. Ему было даже приятнее думать, что эта бабука — совершенно чужая, что она нашла его на улице, где он в младенчестве был кем-то утерян, и присвоила. Или вообще украла у добрых родителей ради какой-то злой колдовской практики, уж очень она смахивала на ведьму.

Мифическая Виолетта, которую проклинала злая бабука, казалась Сашке несчастной принцессой, которую заточили, как в башне, в темном канализационном коллекторе, превратив перед этим во что-то совсем другое. Бабука могла бы, ей ничего не стоит. А теперь говорит, что его мать натуральная бомжиха. Сашка подозревал в бабуке скрытые способности к волшебству, которые она никогда, конечно, не демонстрировала — ни в своем директорском кабинете в школе, ни в других общественных местах или вообще на людях.

Но дома, обидно отбивая линейкой ритм по Сашкиной голове или тыкая пальцем в станицу его тетради, испорченную ошибкой, она включала свои колдовские навыки — во всяком случае, для того чтобы поселить в нем необоримый страх. Сашка пытался сопротивляться, но в ее присутствии не мог, весь замирал. Его протестом были бесконечные прогулы и вялая успеваемость.

— Мать твоя вообще считала образование чуждым человеческой природе. И где она теперь? Бродит по колодцам? Я не уверена, что она жива. Скончалась где-нибудь под забором, вероятно. И ты пошел, как

я вижу, в нее. Копия — как внешне, так и внутренне. Откуда у меня могли появиться такие потомки?! — Бабка обращала глаза к небу, складывая руки на леопардовой груди, словно она святая статуя из учебника истории.

Ирина Аркадьевна считала внука уродом и душевнобольным — в педагогическом смысле, конечно. Какое-то время она крепилась, но, когда на десятом году жизни Сашка вероломно похитил у нее пятьсот рублей, жалость к внуку пропала навсегда. Что же до любви к нему, то он лишил ее надежд на яркую полную жизнь — как можно это любить? Как женщина нестарая и разведенная, она рассчитывала пораньше выпустить в самостоятельное плавание дочь и попробовать найти достойного мужчину, не такого, как первый муж, человек без фантазии и развития, инженер без перспектив, который к тому же еще и умер. Непутевая дочь и внук нагло украли у нее эту возможность. И да, если бы Сашку забрали, она была бы рада. Но кто же заберет ребенка у директора школы? Сама, по собственной инициативе устроить внука в детское учреждение не могла: что люди подумают, если отличник народного образования сдаст собственного малолетнего родственника в казенное учреждение? Достаточно позора от дочери, которая в пятнадцать родила и сбежала, подкинув матери младенца. Этого Ирине Аркадьевне школьный коллектив, конечно, не простил, завуч по воспитательной работе при случае (и это точно, ей неоднократно рассказывали) доносит до нужных ушей неблагозвучные эпизоды из ее личной жизни.

Поэтому Ирина Аркадьевна все эти годы внука терпела, обдумывая потихоньку, как бы от него избавиться без потерь для своей репутации. Нашла уже подходящий интернат — кадетский корпус, через год можно сдавать. Но полковник из интерната предупредил, что нужны еще и хорошие отметки, конкурс большой: дети военнослужащих, а еще полицейских, пожарных, а еще соцнагрузка из неблагополучных семей, с которой отметок, конечно, особо не спрашивают. Но Сашка — внук директрисы, с него положено спросить.

Пока Сашка навещал Каплин дом, бабка пялилась на портрет президента, висевший над совещательным столом в ее рабочем кабинете, и думала о своей жизни, испорченной всеми плохими людьми, которых она встретила на жизненном пути. А президент мужчина видный, строгий, неплохой такой мужчина. И разведен...

В широкую директорскую дверь постучали. Толстая математичка доложила, что Александр не явился на уроки и она теперь не отвечает, если ему поставят тройку в четверти по совокупности успехов. Ирина Аркадьевна мотнула головой, пригласив математичку войти. Лицо ее обрело приличное директору школы строгое, безжалостное выражение.

Сашка не любил школу. Он любил заросшие пустыри, заброшенные дома, а также ближние к городу дачи, особенно в зимнюю пору, когда они стояли пусты. Каждую осень на Сашку находило тоскливое чувство, манящее неизвестно куда. Он бродил по городу, добирался до каких-нибудь дач и, удостоверившись, что никто его не видит, проникал на какой-нибудь участок, а то и в дом. Многие хозяева оставляли

на деревьях облепиху, если она была мелкой. Но Сашка знал секрет ее сбора: после первых морозов нужно было расстелить на земле простыню или полотенце, что найдется в доме, и трясти деревцо. Он возвращался домой с мороженой облепихой в пакете или наволочке.

Ирина Аркадьевна злилась.

— Ну что, нашел? — пыхла она, засовывая наволочку с облепихой в помойное ведро.

Она была убеждена, что Сашка бежит искать мать. И хоть это было не так (он что, дурак, рыскать в полной неизвестности непонятно где?), Сашка не разубеждал бабку.

Однажды он попал в переделку. Это был как бы сон о том, о чем Сашка хотел бы вовсе не знать: о страшной жизни детей. Когда дети входят в звериный возраст, в переломный, опасный возраст, тогда только родительская любовь может как-то сдерживать их. Но отделенные от нее, отнятые раньше срока — ведь и взрослый человек может существовать без нее с большим трудом, — дети становятся легкой добычей страха, преодолеть который помогает только ярость. Нелюбимый и ненужный ребенок идет по жизни как внезапно ослепший человек, натывается на твердые и острые предметы, им руководит боль и ужас неизвестности. И тогда рождается эта самая ярость. Если пути таких детей пересекаются, они становятся бандой, группировкой, дворовой компанией. Не позавидуешь тому, кто попадает на их пути, и Сашке просто не повезло.

Сашке не повезло, и теперь он часто видит этот повторяющийся кошмар во сне. Он в дачном домике лежит на полу. Хозяев не будет до весны. Глаза его не могут смотреть, смотреть больно. Он ничего не видит, только слышит. Прыгают вокруг пьяные малолетки. Звякают бутылки. Сашкина голова лежит в остро пахнущей луже. У него болит все тело. Его, кажется, бьют. На шею накидывают веревку и тянут. Сашка медленно изо всех сил кричит. Кричит так, словно кто-то летучий хочет выскочить из его тела и улететь, улететь от этого отчаяния, которое означает ожидание скорой смерти. Он кричит: «Ма-а-ма-а-а!»

Сашка на этом месте обычно просыпается. Тогда, в реальности, он очнулся, когда тетенька в белом халате гладила его по голове. Он радостно подумал в первую минуту, что это мама вернулась, что он все вытерпел, звал ее — и она услышала, пришла его спасти. Но тут же заподозрил, очухиваясь, что это никакая не мама. Хотя детям на помощь, конечно, всегда приходят мамы. А это просто врачиха, как в поликлинике. Он отвернулся, ткнулся лицом в коззам кушетки и горько расплакался. И не мог остановиться, и рычал, и даже извивался. Вторая волна отчаяния пришла и стала душить. Разочарование от минутного очарования было так страшно после всего, было так непереносимо!

Он тогда задергался, изо всей силы толкнул врачиху, она отлетела к стене. Врачиха не обиделась. Она улыбалась ему, и в глазах ее он видел доброе сочувствие. Ему воткнули укол, и вокруг него образовалась

тишина. Она раскачивалась, раскачивала его как в гамаке. В этом укачивании Сашкины мысли успокоились, стали стройными, и Сашка принял какое-то большое решение.

Ребят, мучивших его, он больше не видел. Но знал от тетеньки-инспектора, что троих постарше заперли в спецшколе, а маленьких оставили родителям, но под очень строгим присмотром полиции. Она назвала имена.

— Они тебя больше не обидят, не бойся.

Сашка усмехнулся про себя: за меня не бойтесь, за них бойтесь. Он чувствовал себя неимоверно повзрослевшим, он чувствовал себя старым и хитрым. И мать была ему больше не нужна. Так он думал.

Потом еще одна тетка с красивыми черными волосами пришла к ним домой и в кухне разговаривала с бабушкой. Сашка слышал бабкины вскрики, лицо его гневно подергивалось. А потом он ушел в свой угол, лег на кровать и принялся мечтать: он мечтал, как мучители вырастут и он отыщет их и всем отомстит.

Вечером бабка заглянула к нему в комнату. Посмотрела с жалостью как будто бы. И ушла, не сказав ни слова. После этого Сашка заплакал.

Конечно, все это был страшный сон. Когда он стоял за деревом, воспоминания возникли, как волна, но быстро отхлынули, потому что он сунул руку в карман и ощутил там острый, скалистый угол пачки с печеньем. Подпрыгнул и побежал прочь, намереваясь вернуться к этому дому. Может быть, ему больше не придется проводить в одиночестве свои злые дни. Может быть, место ему найдется.

Глава 13. Любимые, потерянные и найденные

Маленькие обычаи, выдуманные или усвоенные, мешают наступлению любви, превращают возможность *значимого* в суету. Букеты в шумных обертках, иные подношения, долженствующие сказать о щедрости, наряды и маскирующая раскраска, имитирующие красоту, лишь создают пеструю неверную рябь. И волна, которая могла бы поднять нас чуть выше привычной поверхности, не созревает.

Все притворяются, что рябь это и есть волна. Но она не содержит ни высоты, ни глубины. А бывает еще и грязновата, когда невидимые потоки, дрожание водяной толщи взбивают со дна сумрачный ил. Сквозь эту рябь лицо напротив даже приблизительно не опознаваемо. Оно искажается, и потом все может оказаться иначе, не так, как ты себе представляла.

Сердце повернулось, застряло — это влечение. Мне кажется, я больше не путаю влечение и любовь — желание и сладкое усилие. Нежная шкурка желаний, под которой скрывается ослепительное ядро, лопается, и выходит свет, обучающий меня чистоте.

Без чистоты невыносимо. Особенно, если представить, согласившись с Шекспиром в определении мира, что память — главная героиня всех наших пьес.

Агата, думая все это, плавала в кисельной дреме воображения. Диван поскрипывал теплой кожей.

— Они почему-то с рыбалки всегда привозили только малюсеньких рыбок...

— Я похожа на рыбку?

— Все рыбки похожи на мыло.

— Я похожа на мыло?

— Нет.

— А на что я похожа?

— Ты? Не знаю. У тебя пальцы бесстыжие.

С кем она беседует? С одной стороны белая штора, с другой — синяя, плотная.

Ни у кого сейчас нет белых простыней, белых пододеяльников, белых наволочек. Сейчас у всех цветные. А у него есть.

Она как будто пришла на эту пустую улицу, к дому, словно собранному из какого-то неземного вещества. Она приблизила голову к черной стене, к выпуклому бревну — хотела прислушаться, не дышит ли дом, этот мамонт, трагически увязший в болоте времени.

Возле старой двери напало на нее бессилие, руки не поднять. Тогда кое-как постучала в окно.

А дальше — все в темноте: скрипы, теплота, ощущения. Горьковатый привкус на коже; и запах, до конца не распознаваемый, трагический, сладостный, отчаянный, — наверное, потому, что любое острое чувство обнаруживает в себе смерть. Ведь острое чувство — принадлежность физического, указывающее на естественный исход, так или иначе. Поэтому страсть равна смерти, поэтому они суть одно, но только проявленное соответственно обстоятельствам.

Она в своем то ли любовном, то ли смертельном плавании — которое воображала — ощущала лишь себя. Его не ощущала. Он и все прочее относилось к миру вообще, а не к ее чувству, которым она упивалась, погружаясь все дальше в свои фантазии.

К окну тем временем прорвался ночной снег — снеговые тучи осаждали город уже несколько дней. Суетливые хлопья наполнили воздух, но быстро успокоились, больше не роясь, не мельтеша под фонарями, плавно оседали, придавая картине окна отрешенный вид. На горизонте стоял голый парк, равнодушно цепляя деревянными руками вату темноты. Бог особенно виден в спокойной природе, словно подернутой дымкой разумности, когда ничто не ослепляет и восторг чист и освещает тебя ровно, — ты словно осознаешь себя со стороны. Бог — в мгновенном чувстве глубокого покоя, когда ты смотришь на то, что взаимно влюблено в тебя, — на человека, собаку, на ночное дерево. На снег в конце концов.

Агата, конечно же, не входила в чужой дом. Она бы не отважилась. Сейчас, во всяком случае, вот так сразу. Она не была отчаянной. Во всяком случае, такой она себя не знала. Оставив этому человеку номер

телефона, поначалу несколько дней на звонки, если номер незнакомый, не отвечала. Они разговаривали лишь дважды. Ситуация казалась слишком типичной, критически пошлой. И когда ночами Нольберг отчаливал в иные миры, откуда извлечь его могло только солнце, бугаею ломящееся в скучное окно семейной спальни, она сидела где-нибудь в квартире и переживала эту пошлость, осветляя ее хотя бы контрастом: наличие у супруга любовницы казалось ей верхом вульгарности. Тем более что Нольберг особо ничего и не скрывал: не видел, наверно, необходимости.

Телефон вибрировал под кожаной диванной подушкой.

Муж похрапывал в спальне. Агата заглянула к нему. Он спал крепко и сладко, подрагивая голыми ногами, как собака лапами. Ноги его всегда торчали из-под одеяла. И никогда он наутро не помнил, что ему снилось. Во сне он был словно мертвый и каждое утро воскресал. Но сейчас еще было не утро, можно было не беспокоиться.

Снег, снег. Она побрела на кухню и в полусне ответила на звонок с незнакомого номера.

— Ты как? — Агата говорила шепотом, открыв дверцу холодильника, замаскировавшись под ночного едока. Начало разговора было так себе, но она не знала, что сказать.

— Хорошо. А ты как? — Он говорил в полный голос. У него был матовый, глуховатый и глубокий тон, похожий на серого ночного мотылька, который бьется вокруг плафона, ожидая, когда придет его очередь сгореть.

А дальше они оба молчали. Агата закрыла холодильник. И села с телефоном на крошечную тахту возле балконной двери, покрыла ноги кухонным полотенцем, а трубку и половину лица — кухонной прихваткой, для тишины, чтобы никого не разбудить. И пыталась представить, как там он, что делает, стоит или сидит, или лежит, может быть. Молчать представлялось естественным — между ними еще ничего не было, они еще ничего не знали друг о друге.

Она опасалась, что знание может разрушить ее смутные ожидания — пока, впрочем, только одно, ожидание освобождения. Ведь ничего до этого не помогало ей сломить стену, которая встала на ее пути: стену нелюбви, которая откуда ни возьмись появилась в ее жизни. Эта отчаянно прочная стена росла и питалась чем-то из-под земли. Сама Агата чувствовала себя мушкой или птичкой — кем-то, имеющим крылья, но неспособным перелететь стену.

Тихий ночной тайный разговор продолжался.

— Здесь много грязной работы, нужно все разобрать. Но дом хороший...

Он рассказывал о себе. Агата недавно уже видела этот дом. Нет, не входила, лишь поднималась на крыльцо. Обошла его вокруг, получивая от волнения. Но не стучала в окно, конечно. И ручку входной двери не трогала. Пришла туда после долгих раздумий, из жгучего любопытства, но как бы в окончание прогулки. Не стала ждать автобуса, пошла по мосту, по длинной набережной, потом завернула и прошла еще несколько кварталов от реки. Постояв возле дома, вернулась на мост, смотрела на воду, сияющую, ломившую глаза.

Почему говорят, что на огонь и воду можно смотреть бесконечно? Потому что мы не имеем в отношении них никаких других ожиданий: вода — это вода, огонь — это огонь. Одна течет, другой горит. Они естественны — и мы естественны в нашем отношении к ним. Вода под красным солнцем имеет вид жидкого серебра в кровавых брызгах — это уже наше воображение. Точно так же мы вспоминаем лицо, ставшее вдруг любимым, находя в нем всю правду — и всю нашу жажду утоляя этой находкой. Воображение помогает преодолеть давление материи, оно обоснует наши чувства как чистые, как единственно возможные. К счастью, иногда так и бывает. К счастью, иногда чистота открывается нам неожиданно.

— Придешь в гости? Когда захочешь.

— Приду. Скоро приду.

— Приходи быстрее.

Елена позвонила Марату неожиданно.

— Я хочу увидеться с тобой, котик. Ты так гадко меня бросил, надо сказать. И работу бросил. Надо, чтобы ты вернулся, мы тут ничего не успеваем. Кстати, и вещи свои оставил. Или возвращайся, или забери их уже совсем. В чем ты вообще там ходишь? Все приличные рубашки висят в шкафу.

Елена тархтела, но не кричала, не упрекала. Марат решил навестить жену и уладить с ней все вопросы. Он пообещал ей вернуться — но только на работу, в бюро.

— Маратик, ты умница! Остановимся пока хотя бы на этом. — Елена хвалила, но как будто бы и ругала. Как, впрочем, всегда. И это означало, что Елена не отступит и будет его атаковать. Он хотел было рассказать о том, что в его жизни произошла важная встреча, но сдержался.

Когда они увиделись в бюро, Елена была спокойна. Этого он не ожидал, хотя и считал ее мастером манипуляции.

— Нужно будет посетить одного человечка. Крупненький контракт. — Она кивнула в сторону своего стола.

Система получения контрактов была известна Марату, и обычно он отстранялся от таких встреч, предоставляя их Елене. Но в этот раз неожиданно для себя сказал, что хочет прочесть документы и поедет на встречу вместе с ней.

— Ой! Ты не болен? — Елена закатила глаза, но губы ее подернулись той редкой улыбкой, которая свидетельствовала: она растрогана и довольна.

А вот Марат был собой недоволен — он вовсе не хотел ее растрогать или дать надежду, хотел лишь усилить свои позиции, настоять на своем, доказать, что их отношения теперь чисто деловые, что он больше не может доверять ей как прежде.

Марат посмотрел на свой стол, расчищенный от бумаг. Лист на календаре был перевернут с октября на ноябрь. Его чашка, обычно зарастающая налетом чайной заварки, сияла. Это окончательно его раздражило.

— Мне надо забрать вещи. Поехали.

— Что конкретно ты будешь забирать? Какие-то вещи — наши общие, ты же понимаешь.

— Возьми чемодан, сумку и сложи туда то, что считаешь нужным, — сказал он сухо.

Он ждал ее в машине, пока она была наверху, дома, собирала сумки.

Любовь преследует нас, требуя исполнения обещаний, овладевая ее тонкостью, овладеваешь тонкостью вообще. Теперь он не мог подняться туда, в жилище, где обещания не были исполнены, где все покрыто уродливыми наростами взаимного негодования.

Елена выкатила из подъезда чемодан. Он погрузил его в багажник.

— Когда тебя ждать дома?

— Никогда.

— А на работе?

— Заеду, как смогу.

И вдруг Елена заплакала.

Ночью Марат не мог уснуть, ворочался на своем диване в винных разводах. Слезы жены не выходили из головы. Не то чтобы ему было ее жаль — просто он осознал, что большой этап его жизни закончился, начинается новый, совершенно неизвестный. Он подскакивал, глотал воду, стоял у окна, прилипнув лбом к холодному стеклу. Его трясло. Размытая фонарями темнота предлагала ему картины какой-то фантастической действительности, а может, снова воскрешала мертвецов. Они просто его преследуют в этом городе!

Потом он возвращался в постель и как будто засыпал. Но, засыпая, видел совершенно отчетливо, что главная дверь в его доме заколочена. Впрочем, позади, там, где сегодня растет толстый тополь, есть еще одна. Через эту дверь спаслись дети Каплина.

Он видел, как они бежали, Дуняша даже и босиком, по листьям, сохранявшим, будто в ладошках, нерастаявший снег. Испуганная няня Ольга завела их в тупичок между домами на другой стороне улицы и велела там притаиться возле забора, сидеть тихо. Сама убежала. Больше никто ее не видел. Они сидели, Дуняшины ноги ооченели, но плакать следовало молча, чтобы не напугать младших.

Их скоро подобрали какие-то люди. Дуняшу жители тупичка, мещане Думочкины, благообразная немолодая пара, выпросили себе. Марат видел ярко, в широких картинах, и дальнейшее, находясь, по-видимому, под впечатлением от писем. Видел, как долго она жила у них, как выучилась на бухгалтерских курсах, как схоронила обоих стариков Думочкиных. Как в зрелости вернулась в отцовский дом, поделенный на квартирки. И как вынесли Дуняшу, седую, тощую, через эту же дверь черного хода, он тоже видел. Возле двери тогда хлопал зелеными крыльями юный тополек. Выл черный пес, потеряв человека.

А перед смертью постояла Евдокия в коридоре дома, послушала, что говорит дерево. Вскипятила чайник. Нарезала хлеба. «Хлеб нынче пекут влажный, тяжелый», — только успела подумать и умерла. Соседи решили, что через черный ход выносить ее будет удобнее: потом прямо

в горку, прямо к церкви. Маленькая дверь всегда плотно прикрыта, но не замкнута.

И сейчас не замкнута, войти можно. И человек войдет, и всякое...

После этого вокруг Марата оформилась как будто бы окончательная тишина — ничто не отрывало от плавных мыслей, мелькающих, но уже непроглядных, спутанных, сплетенных в одно ласковое покрывало, легчайшее, легчайшее...

Покрывало прорвал то ли плач, то ли стук. Тишина расплзлась, как ветхая тряпка. Образы замылились. Очередь, провожающая гроб с Евдокией, рассыпалась на кубики.

Марат стряхнул дремоту, сполз с дивана. Стук повторился. Открывая дверь в коридор, он все еще находился в окружении молчаливых призраков. Призраки толпились в сторонке, ожидая внимания.

В открытую дверь вшагнуло светлое пятно, стукнули каблуки.

— Мы где? — Пятно пошевелило воздух.

Призраки обиженно нахохлились, а потом отступили.

— Ты попала в логово маньяка. — Марат ответил автоматически, даже не разобрав еще облика гостьи. Неловкая шутка. Но как еще встретить этот голос? Как словами высказать объем счастья, который созрел в нем в одну секунду, раздавив остатки сна. Можно было спросить, какими судьбами занесло ее сюда так поздно, удивиться — и разрушить восторг момента. Можно было насторожиться — и разорвать череду тонких событий, которую сплетала ради них судьба.

Поэтому он нашел милую, незнакомую пока руку, ухватился за нее, как утопающий.

— Не бойся. Это мой дом.

Он в первый раз назвал этот дом своим. Призраки, столпившиеся на лестнице, удивленно обернули к нему свои прозрачные расплывчатые лица и, успокоенные, уплыли вверх по лестнице.

Люди остались одни.

А утром никто не спешил просыпаться. Утром дом был, как в вату, упакован в тишину — тишину воскресенья, блаженных поздних снов, их некоторые сновидцы разматывают аж до полудня. Потом с опухшими глазами блуждают внутри своей жизни, натываясь на вещи, на случайные воспоминания. Сбросить тяжесть сновидений порой непросто. Порой вся жизнь превращается в сновидение.

А вот Агата проснулась очень рано, выбралась в коридор, забралась на второй этаж, некогда разбитый на клетушки жадными руками коллективного хозяина. Обломки старого дерева — стульев, полок — плыли навстречу ей обломками неизвестных судеб. В них ютилась страсть тления, скрывались тайные истории, в которых горечь мешалась со сладостью, а щемящее личное перебивалось чем-то общеизвестным. Во всем чувствовалась печаль, рационального объяснения которой не было.

Она уселась на низкий подоконник в одной из комнат, самой большой и пустой. Лепнина, сохранившаяся над проемом двери, — лавровые

листочки, забеленные на миллион раз почти до полной неузнаваемости — сглаживала, как еще могла, сиротливость пустого помещения. Кто-то когда-то любовался свежим гипсовым лавром, и она, эта лепнина, ловила вечерами и отблески свечей, а не мерзла, как сейчас, только под электрическим мертвым светом. Вся эта пустота отзывалась внутри неотчетливой, но очевидно знакомой песней. Какими-то незамысловатыми, легчайшими куплетами, где за музыкой и словами горели высоким огнем человеческие сердца. Их бытие разворачивалось на светлых равнинах или в тревожной узости ущелий, близ холмов, наполненных подземным трепетом, на долгих сырых побережьях. Или здесь, сейчас — среди снегового шепота, блуждающего по кронам и крышам. В юности этот шепот слышишь отчетливей и будто бы даже разбираешь в нем какие-то отдельные слова. Но под давлением лет словно закладывает уши — не слышишь ничего, лишь догадываешься о сюжете: едет на коне мужчина, навстречу ему, вглядываясь в пылевую тучу на дороге, спешит женщина, еще не разобрав, кого встречает, а следуя лишь обещанию сердца.

Склонная к большим переживаниям — хотя по привычке, выученной в родительской семье, относила такое к романтическим бредням, — Агата с неудовольствием обратилась к собственной жизни, в которой находила тьмы мелкого, пошлого, скрывающего, как пыль на дороге, ее всадника.

На горло ей плавно давило и раскаяние: очевидно, что она недостаточно умелая жена и недостаточно ответственная мать. Ведь если любовница мужа подсылает к ней бородатых пажей с посланием, то ясно, что она как жена уже ничего не стоит. А у нее духу не хватает и на то, чтобы устроить скандал. Даже туфли утопила. И о детях сейчас совсем не думает.

Раскаяние сменялось тихим вопрошанием: как же так вышло, что она вообще почти никто? Ничего не умеет, и все ее достижения лежат в области далекого прошлого. Нужно хотя бы себе самой ответить честно. По настоянию Нольбергов она когда-то согласилась, что женщине из *такой* семьи работу можно посещать факультативно, ради того, чтобы не утратить связь с реальностью, но и это не обязательно. И она, не сопротивляясь, уселась дома. Это было давно. Потом появились малыши — и она выросла в домашние стены, стала чем-то вроде обоев. Ее собственные родители были с этим вполне согласны. Жизнь в *такой* семье налагала свои штрафы.

Тем более отец считал, что дочь немного мешает его собственной карьере, вызывая ненужное внимание и досужие сплетни: он возглавлял большую авторитетную кафедру, она на ней работала. Конечно, думала Агата, он бы никогда в открытую не сказал, что она для него помеха. Но все было понятно и без слов. И мать возражать не стала, видимо взвесив карьеры — настоящую мужа и возможную дочери. Можно ли винить ее в том, что она выбрала настоящую, которая могла в будущем расцвести и в директорском кабинете? Агата не винила родителей. Не винила и *такую* семью. Просто хорошо понимала, почему настойчивость Нольбергов

была принята матерью и отцом, людьми уважаемыми и практического склада, благосклонно. Но ведь и сама она не протестовала, согласилась на все, к чему ее склоняли. И даже была довольна.

И все туманности, недосказанности ее маленькой жизни были развенчаны минувшей ночью. Она стала как будто виднее — сама себе. Силуэт ее будто бы стал четче. Что получила она от наступления ясности? Правда была горьковатой, досадной, но она все равно давала облегчение. И если посторонний (облако пыли), незнакомый человек, к которому она склонилась всего лишь от сильного внезапного ощущения, увидел ее отчетливо, то разве сама она не должна сказать себе всю правду?

Конечно, не этого она ожидала от Марата. Чего ожидала, ей неизвестно. Чего-то меньшего. Можно сказать, что она ожидала легкого обезболивающего эффекта для своего уязвленного самолюбия. И когда пересекла она улицу, как Рубикон, очевидно совершая огромный и, возможно, неоправимый проступок перед *такой* семьей, чувствовала себя ничтожной нарушительницей устоев, обиженной ничтожной дурой. Ей мнилось, что за ней следят фонари, что Виктор сейчас явится как из-под земли. А его непотопляемый папаша разотрет ее в порошок и развеет по ветру.

Если бы Нольберг не собрался в очередную внезапную командировку (Агата называла их «командировки выходного дня»), она бы осталась дома. Страдала бы в неведении и сомнениях, переползала бы из комнаты в комнату всю ночь. Обычно помогало присутствие детей, которым она была нужна настолько, что на посторонние мысли попросту не оставалось времени. Но дети отправились в гости на все выходные к ее родителям — бабушка с дедушкой открыли зимний сезон на даче, там были кошки и собака, живые огни в настоящем каминчике. Наконец, пустой лес на берегу пугающе большой реки. Река пока не замерзла, а лес еще заволакивало туманами. Эхо в почти голом лесу, если громко крикнуть, материализовалось, как казалось Агате в детстве, в старика — белое одеяние, белая борода. Агата боялась этого деда, который, конечно же, был лесным колдуном, а кем же еще. Повстречаете колдуна — тихонько уходите, хотела напутствовать Агата детей, когда застегивала им курточки. Но тут подошел отец, провел ладонью по голове внука. И она не стала ничего говорить.

Конечно, мать бы сказала о ее побеге: ни стыда, ни совести. Она так говорила всегда, стараясь принудить дочь к подчинению. Может быть, Агате за всю жизнь просто надоело стыдиться, может быть, она устала, поэтому-то и взошла на крыльцо и постучала. Остальное, конечно, ничем таким не объяснишь, но подобные вещи вообще плохо объяснимы. Остается таить тишину, которую они приносят, стать чем-то вроде этого дома.

Внизу заскрипело. Агата вдохнула поглубже и отправилась вниз, в свою секретную жизнь.

Минувший вечер ничего не объяснил, все запутал. Одеяло было холодным, как озеро. Когда они, набрав побольше воздуха, падали в это озеро, никто и не надеялся выплыть. Марат, по крайней мере, не надеялся.

Было темно, хотя и горел свет. Темноту в глазах вызывала бьющая в теле кровь, застилающая все внутренние зеркала, в которых хоть что-то могло отразиться. Действовать приходилось на ощупь.

Ее появление было жданным, но неожиданным. Впрочем, к такому не приготовишься. Не знаешь, что сказать, как мальчик. Он поздно заметил, что дрожат руки, — она уже смотрела на его руки таким пристальным, будто привязанным, взглядом.

— Проходи? — и легонько подтолкнул ее к обитаемой комнате.

Она будто напряглась, он перехватил это напряжение, подался навстречу, загородил отступление. Но собиралась ли она отступить? Рванула дверь перед собой, зашла, обернулась к нему влажным, заострившимся от переживания лицом.

Обнимать женщину в пальто непросто — он терял ее в широких шерстяных складках. И эта игра в ускользание так раззадорила его, что он схватил фигуру в охапку и, плотно прижав к себе, зафиксировал так жестко, что та ойкнула. Затем полетело в угол пальто. Затем и нагрянула темнота.

Озеро кровати, из которого они умудрялись высовывать головы, чтобы вдохнуть, взбилось в пену. Все простые движения и общие людские интимные привычки, давно ставшие обыденными — а потому жалкими и неловкими, — обрели вдруг первоначальные смысл и красоту. Страсть принесла ту форму тепла, которой так не хватало им обоим.

Она преобразила инстинкт в прекрасное условие миропорядка, а события — в череду неотвратимых обстоятельств, которые обычно называют судьбой. Каковыми были, например, застигнуты в свое время купец Каплин, плакавший по утонувшей жене, и молодая Домна, прислонившаяся к нему в бальной зале, оступившись. Она едва не уткнулась носиком в бутоньерку на лацкане, а подхваченная за локоть, взглядом уперлась в седеющую бороду, упрямые губы, а смутившись и подняв глаза, попала в светлый шторм совершенно безжалостного взгляда. Каплин был расстроен сделкой, которую срывали иногородние партнеры, не явившись в условленное время. Хозяин бала — сторона сделки — все еще терпеливо ждал. Ждал и Каплин, но уже начинал злиться. Подхватывая под локоток девчонку, которая — надо же! — запуталась в собственных юбках, он выругался про себя. Но вдруг обнаружил в себе и в девчонке что-то случайное и чудесное, мираж. Будто черты давно знакомые и позабытые померещились ему в этом существе. Будто нагрянул сложный запах, дарящий человеку ощущение свободы, — так налетает, сшибая с панталыку, весенний восточный ветер. И одновременно с Домной в поле его зрения попали запыхавшиеся партнеры, оправляющие одежду. Ну вот, подумал Каплин, ну вот, всё. Всё.

Таким же неотвратимым обстоятельством был, например, и дом, который Марат желал воскресить как событие и узел минувшего. Неотвратимыми обстоятельствами были и перемены, вычищающие объемы истории от самой истории, как очищают емкости от остатков

содержимого: деревянные в центральной части города исчезали чаще, чем их настигала естественная гибель. Может быть, и следовало им уже исчезнуть? Взамен появятся другие здания, свежие, вместительные. Но для человека дом — все же не помещение, не удобства. Дом — это вмещаемое: семья, недруги и друзья, любовь и смерть, предательство и преданность, верность и ничтожество — все качества и побуждения, все оправдания и обещания. Даже тот дом, который еще не построен, уже не пуст — ибо у кого-то возникло намерение построить его для чего-то. А как же сломать такой, который, простояв сотню лет, настолько крепко связан со своими людьми, что его уничтожение напоминает убийство?

Неотвратимыми обстоятельствами, в конце концов, были люди — друг для друга. «Что нас ждет?» — подумал Марат в тот момент, когда Агата, проскрипев лестничными ступенями, снова вошла в комнату, стянула с себя его безразмерную футболку, в которой спала.

— Что же нас ждет? — сказал он вслух, она пожала плечами и улыбнулась.

И когда страсть сфокусировалась в напряжении этого бесконечного вопроса, пропало вдруг всякое волнение. И для тонущих посреди маленького белого озера наступила возможность окончательной правоты.

Глава 14. Бдения Леонида Абрикосова

Леня Абрикосов все еще мучился раскаянием, хотя прошло уже изрядно времени.

Конечно, если бы он знал, что его мерзкий, несмыслимый поступок приведет к началу чьей-то любви, он бы, наверное, так не переживал. Хотя как знать...

В тот день, после совершения им злодеяния, Элеонора, вернувшись с работы, позвонила и даже прибежала к нему, чтобы, скромно опустив глаза, выслушать отчет о случившемся ради нее моральном преступлении. Она была довольна.

В ней не было сильных чувств, но ее сжигало любопытство, которое добавляло злорадности ее хоть и скрываемой, но видимой радости, — любопытство неестественно искривляло ее рот. Лене казалось, что у его мистической розы неведомой болезнью тянет мышцы.

— Она очень расстроилась? — с надеждой спросила Элеонора.

— Ну... наверное.

— Вспомни, какое было у нее лицо?

— Лицо как лицо.

— Ленчик! Ну что ты такое говоришь: разве может быть лицо лицом у женщины, которая узнала, что мужик ей изменяет! Это рожа должна быть, как у чудища... — Элеонора скривила лицо в устрашающую гримасу и выставила когти.

Ее пальцы, над которыми регулярно трудились маникюрши, сегодня были черными с металлическим ободком.

— Никакого чудища не было, Эля. — В голосе Лени, смотревшего на опасные ногти богини (не хватало только желобков для стока крови), появилось упрямство, тон повысился.

— Всегда в таких случаях именно чудище, ты просто не заметил. Есть жвачка?

Эля быстро переключалась на свои мелкие потребности, каким бы серьезным ни был разговор. Эта черта в ней не то чтобы нравилась Лене, она его успокаивала. Хотя в глубине души он догадывался, что в череду грубых манипуляций, которыми Эля владела в совершенстве, эта — съехать с темы, чтобы расслабить оппонента — не самая последняя.

Он отправился на поиски жвачки. И пока рылся в карманах верхней одежды, лазил по ящикам своего письменного стола, пришла мама, обычно дохнула холодом.

— Элечка, как приятно! Мой дурачок даже не предложил тебе чаю?! Есть отличные печеньица... — услышал Леня, так и не отыскавший жвачки в своем настольном хозяйстве.

Печеньица! Дурачок!.. Он намеревался было поставить мать на место, но, увидев ее острый висячий нос с подрагивающими крыльями, сказал всего лишь:

— А нельзя о родном сыне как-то повежливей?

— Люди подумают, что я тебя не научила правилам хорошего тона!

— А ты научила? — Леня раздражился, внутри у него все заерзало.

— Я-то учила, а вот способны ли некоторые усвоить урок?! — парировала мать, махая длинным носом.

— Господи! — задыхаясь от возмущения, промолвил Леня и уволок Элеонору из кухни в свое холостяцкое логово.

Там муза продолжила расспросы. Она желала изведать страсть отмщения (все-таки Агата числилась женой ее мужчины — чем была, всяко, перед ней виновата). Волны этого желания сладко перекатывались в ней, не ведающей нравственных препятствий. Она просто хотела наслаждаться своим новым знанием — соперница в курсе, что отвергнута.

Наблюдать за богиней хладнокровно Леня не мог, ему хотелось накинуться на нее — то ли поколотить, то ли расцеловать: в отношении такого элементарного объекта, как Элеонора, ему, страстному человеку, склонному к поискам правды и справедливости, но неустойчивому перед красотой, трудно было определиться.

Элеонора, конечно, знала, что рядом с ней Леня неспокоен, — она знала о Лениных инстинктах все. В некотором смысле она его тоже хотела — как бородатого джинна, никому не мешающего в своей бутылке, но иногда, по необходимости, исполняющего самые странные желания. Такие, как то, которое он уже исполнил.

— Ну то есть она расстроилась?

— Думаю, да. — Внутренне он весь сжался, вспоминая.

— Ну тогда целую, Ленчик, я побежала! Прихорошусь — и на концерт... — и унеслась в свои гламурные пампасы.

...А Леня с тех самых пор мучился.

А ведь еще лет десять назад он знал, что делать. Пошел бы, например, на митинги, заявлял бы на каждом углу о своей гражданской позиции, боролся бы за правду и справедливость — и боль бы ушла. Да, было время, когда Леня скитался по «тигрятникам», его чуть было не обвинили в экстремизме. В доме его, к ужасу матери и соседей, органы однажды устроили обыск, ничего не нашли и ограничились штрафом.

— Теперь не такое время, когда человека можно вот так просто упечь! — выговаривала тогда Ленина мать молоденькому полицейскому.

Тот вздыхал:

— Гражданочка, мы при исполнении всего лишь.

— Гражданочка! Леня, ты слышишь — гражданочка! Как в тридцать седьмом!

— Мама, но тебя же в тридцать седьмом еще и на свете не было, — аккуратно возражал Леня, бросая извинительные взгляды в сторону заробевшего полицейского, но мама продолжала бунтовать.

«Мама куда опаснее для государственной безопасности, чем я», — так думал Леня и дожидался, пока его компьютер упакуют в коробку и увезут. Мама поправляла черную прическу — она красилась дочерна, как в юности, надеясь сохранить привлекательность. И мчала к подруге делиться протестными впечатлениями. Мама считала себя шестидесятиницей.

Но теперь и митинги стали редки, и не хотелось туда. Да и вряд ли Ленина боль ушла бы — он стал старше все-таки. Поэтому, не найдя решения, Леня лег зубами к стенке и лежал, гоня в голове одну мысль: как от всего этого освободиться? Так и уснул, надеясь, что утро вечера мудренее.

Очередной понедельник не задался. Оттарабанив студентам лекцию, доцент Абрикосов с испугом подумал о том, что, покинув университет и вернувшись домой, он останется наедине с собой и будет снова порицать себя со всей страстью.

Он решил завернуть к кому-нибудь, например, к Шурику-антиквару — Шурик всегда на месте, в своем магазинчике в центре. Раньше они встречались то на митингах козлобородых анархистов, то вблизи «Русского марша», то на сходках против повышения цен на электричество. Но Шурику были ближе немые позеленевшие божки и тяжелые вышитые полотнища со страшными зелеными и черными демонами, вздыбившиеся страницы дряхлых книг, мебельная рухлядь, монеты... Со временем хозяин и сам стал похож на все это — словно позеленел, покрылся патиной, стал уязвимым, каким-то ломким.

Но зато Шурик точно будет Лене рад.

И Шурик действительно обрадовался. И он оказался не один. В маленькой комнатухе, которая мыслилась и арендовалась как склад при магазинчике, сидели знакомые и незнакомые, человек пять. У Шурика был день рождения.

Троих Ленья хорошо знал — по философскому клубу, собранию беспокойных умов, гнездившемуся в факультетских стенах. Философский клуб заседал дважды в месяц по пятницам. Марксист Петров, приторговывающий на рынке фермерской продукцией, приносил на заседания отличные сливки. На кофе скидывались. Варили его в кабинете декана, имея туда доступ через неокантианца Костопулоса, который был однокурсником декана, а вдобавок — женат на его сестре. Виктория Костопулос отправляла философам собственной стряпни печенье. Оно, конечно же, пахло Грецией.

Человек в клубе набиралось до пятнадцати, а то и двадцати — вместе со студентами-занудами, которые ожидали увидеть здесь пир мысли, а обнаруживали чаепитие седеющих неудачников. Студенты бабочками залетали на посиделки — и так же легкомысленно улетали. Ленья искренне любил завсегдатаев клуба. И Петрова, который, скупая у фермеров продукцию для своего магазина, нередко давал крестьянам слишком низкую цену, и Костопулоса, который для счастья все мечтал перебраться или в Грецию, или в Калининград, поближе к могиле гения. И университетского дворника Илью Горацио, человека, окрыленного тихим и светлым помешательством. Илья часто приносил на заседания бездомных животных, утверждая, что созерцание животных — это есть «философия в действии». Его мыслительный процесс был настолько причудлив, что Ленья удивлялся порой, как Илья еще не превратился в какую-нибудь бабочку или марсианского жука.

Этих троих — Петрова, Костопулоса и Горацио — он и обнаружил за столом у товарища-антиквара. Они ничуть не изменились, разве что Горацио стал тоньше, бесплотнее.

Был там и еще один человек, которого Лене видеть было одновременно очень приятно и не очень приятно, потому что он казался Лене самым свободным человеком на белом свете, но секрета этой свободы Ленья никак не мог понять. Чудак поэт в берете с пером захаживал на собрания философского клуба просто так, чтобы навестить тех, кого знал и не знал. С такой же необязательностью он мог посетить филармонический концерт или кабинет какого-нибудь министра. В споры он никогда не вступал, а вот стихи мог читать до бесконечности. Поэта звали Витольд Сосновский, «единственный в своем роде», как сам он говорил про себя, представляясь.

Никогда нельзя было точно сказать, пьян он или трезв. Но всегда был, однозначно, в своем уме, прагматично выделяя речь — клейкую, прилипчивую, но приятную на слух поэтическую массу, в итоге застывающую в разноцветный рахат-лукум его тоненьких книжек.

Впервые Ленья столкнулся с ним в факультетском холле возле вешалки, которую тот уронил и разглагольствовал на месте катастрофы,

обращаясь то ли к лежащим на полу курткам, то ли к мебели. Леня счел, что речевые прыжки «единственного в своем роде» очень логичны, обоснованны и, пожалуй, свидетельствуют о большем понимании свободы, чем доступно ему, Лене.

— Я не простой пьяница. Но валяюсь периодически. А что делать? Образ надо держать... Вот премию получу, мы поляну накроем. Всех позовем! Я уже сходил к кому надо, говорю: не дадите премию — я выкопаю яму, приглашу французскую прессу и сожгу себя! Надо еще в министерство культуры попасть, им пообещать. К этому... как его там... Сапожников, Безбожников?.. А, короче, какой-то Шариков. А потом поеду в Италию. Или в Нью-Йорк... Но ведь ты понимаешь, что только такие, как я, — поэты, художники и прочие — этот город и сохраняют? А вот мы уйдем кто куда — и останется что? И ничего. Ну, что-то, положим, останется, но все-таки — ничего! Ты по этому опустевшему городу пойдешь и подумаешь: вот здесь бы мог сидеть на лавочке Сосновский со своим крокодиловым портфелем. А нет! Не мог бы я там сидеть, потому что меня, по факту, нет! Я в яме заживо сгорел из-за Шарикова, перед французской прессой! А ты, кстати, кто? Надо тебе прозвище придумать, на русском языке, матерщинное...

Леня, который вернул вешалку на место, стоял, овеваемый этой правдивой сумбурной речью. Для него не было сомнений: псих, но как прав! Леня вытянул руку для рукопожатия, подождал, пока Сосновский приблизится к нему, и басом произнес:

— Леонид Абрикосов. Очень приятно.

С тех пор Сосновский приходил в клуб еще пару раз. Приносил философам коньяк в необъятном портфеле. Он садился и говорил, говорил, но никто его не слушал, кроме Лени. Впрочем, Сосновского это не волновало. Время от времени он выкрикивал философам, что они дураки.

— Леня, они же дураки! Какие они философы, они убиватели мух. А я хочу тебя познакомить кое с кем. Вот они — настоящие философы! Завтра в два зайду.

Сосновский не пришел ни завтра в два, ни послезавтра. Он вообще куда-то пропал, то ли уехал, то ли заболел. Леня тогда огорчился утерянной возможности. А теперь вот он, как новенький!

Пятого гостя, слишком цивилизованного и сдержанного для такой компании, Леня никогда не видел. Этот — он был здесь какой-то случайный — в основном молчал. Но Лене понравилось это молчание.

— А это мой однокурсник по архитектурному, Марат. И архитектор в отличие от меня, — представил Шурик пятого, одновременно пододвигая Лене стул.

Архитектура, как помнил Леня, никогда не интересовала Шуру — она интересовала родителей. Мать в юности мечтала учиться на архитектора, но пошла в медицинский. Парню пришлось отдуваться за несбывшиеся материнские мечты. Впрочем, личный интерес Шурика был некоторым образом смежен: он обожал старые вещи, в которых видел стиль, утерянный ныне.

— Теперешнее, старик, ценности вообще не имеет — и не будет иметь. Банки-коробки, коробки-банки. Ни в чем теперь нет души. Ну может, только в платьях от Гуччи, — мешал Шурик серьезное с шуткой, продолжая как будто общий разговор, но обращаясь все-таки к пятому гостю.

Шурик, окончив институт, резко подшутил над матерью: попросив у нее деньги на открытие собственного маленького дела, он обратил их в старый хлам, купленный по цепочке знакомых на каких-то зловещих углах, привел его в порядок и открыл торговлю. Магазины были мал, но основное происходило в кулуарах. Шурик вел дела широко, обеспечивая провинциальных богачей предметами пожилой роскоши. А недавно — но об этом он предпочитал умалчивать, видя опасность для своей репутации отчаянного любителя древностей, — вошел в небольшое выгодное дело: участвовал посредником в застройке на дорогой земле. Застройка не афишировалась, имела вид безобразной кишки, вклинившейся между старинными домами-памятниками. Леня, как всегда, полагал, что Шурик альтруистически любит свое барахло и готов жизнь положить, чтобы в мире такого барахла было как можно больше.

— Марат, ну так что? — Шурик, видимо, вернулся к какому-то прежде обсуждаемому вопросу.

Чудное же имя! На татарина непохож. Наверное, родители чтили пионера-героя Марата Казея, хмыкнул про себя Леня.

— Дом хороший, конечно, но в исторической части. Земля под ним дорогая. Не боишься, что сожгут? — так осторожно, что Леня вздрогнул, продолжал Шурик.

— Не думал как-то, — молчаливый мужик свел брови на некрасивом, но поразительно располагающем лице.

— А ты подумай. — Шурик набрал воздуха, желая еще что-то сказать, но сдулся, будто в нем проделали дырочку. А потом все же добавил: — Тебе надо бы его статус окончательно узнать, не по старым бумажкам — по новым. Бумажки правят миром. А вообще, лучше бы тебе выехать пока. Пока не установишь, что к чему. Это я тебе свои личные соображения говорю, как другу...

Шурины соображения часто оказывались к месту. Леня это знал. Разговор развлек его.

Шурик продолжал:

— Про монетки тоже подумай. На эти деньги, старичок, ты полэтажа отремонтируешь. Кстати, нет ли у тебя там и рухляди какой-нибудь?..

Обещав посмотреть рухлядь, пятый гость поднялся, собираясь уходить. Леня наблюдал, как тот надевает куртку, неторопливо наматывает шарф. Лицо Шурика, который провожал гостя, меняло выражения, словно он сопротивляется внутренним силам, принуждающим его еще что-то сказать.

Это выражение Шурикова лица не выходило у Лени из головы, посеяв какую-то иррациональную тревогу. И ведь не спросишь, не его дело.

Наконец, устав маяться и разгадывать чужие лица, Леня принципиально напился и отчалил домой. Что же, в этот раз его не затянул завораживающий бред Сосновского, не развлекли страдания Костопулоса, который в очередной раз вернулся из Греции и теперь, по привычке интеллигента, клял родину, мечтая снова уехать.

В лифте Леонид Абрикосов пел «Интернационал».

Утром, проснувшись, обнаружил над кроватью страшную черную надпись: «Элеонора, я тебя...», сделанную, судя по корявому почерку, собственной рукой.

Надпись пришлось заклеивать старой невыброшенной школьной картой — пока мама не увидела и не затрясла трагическими черными кудрями.

В самый разгар маскировочных работ позвонила Элеонора.

— Представляешь! Она завела кого-то! Мой в озверении, придушит ее, наверное. Ну, ты представляешь, какая она гадина!

Леня был не в настроении, его тошнило с похмелья, он даже отменил лекцию, поэтому ответил коротко:

— Сама такая! — и положил трубку.

А через минуту покрылся холодным потом: будет ли означать эта его похмельная фраза, фактически — оскорбление, окончание их с Элеонорой отношений?

Он ошибался — она, как обычно это делала, прискакала к нему минут через пятнадцать в коротких пижамных шортах и бигудях, очень милая. Это было совсем плохо, хуже не бывает. Это означало только то, что шансов на взаимность у него нет — перед настоящим мужчиной Элеонора не выступила бы такой неприбранной. В голове настойчиво затюкал вчерашний коньяк: нет надежды.

С полчаса Элеонора трещала, как мотоцикл, громко, назойливо.

— Нет, ну ты представляешь?! — В последний раз встряхнула бигудями и убежала.

Леня метнулся в туалет, его просто выворачивало. Потом он опохмелился капустным рассолом и кефиром. И к вечеру горизонт его жизни кое-как прояснился.

К шести небо заволочло тучей неестественного, медового цвета. Кралась непогода. Пока она кралась, нужно было успеть прогуляться, подышать свежим воздухом.

На детской площадке, усевшись на лавочку, уставившись на пустые карусели, он закурил. Ни одного малолетнего оглоеда на улице не было: уже сильно дуло и пробрасывал снег. Его самого мамаша всегда загоняла домой по такой погоде. А он, между прочим, любил ветер.

За спиной порывкивали машины, устанавливаясь на парковку. Видимость словно затуманилась, покрылась серой пылью. Зато слышимое стало ясней. Леня вслушался в звуки: вот бродит голубь, ждет крошек, коготки его стучат по ледовой корочке, вот кудахчет проблемное авто. Даже приближение снега будто бы слышно, хлопья его падают, натываются друг на друга, создают трения, пощелкивания, трели, слова: «Мы сегодня все продумали и решили: будем этот дом

убирать... какая собственность? хлам сплошной!.. и так не город, а дыра... понял вас... все сделаем... понял... в лучшем виде будет... понял вас... памятник?.. ну, с этим мы как-нибудь решим... Не помешает? Нет, уверяю вас, он вам не помешает, мы все просчитали. Участка не хватает... Вам хватит? Но это впритык, а как же нормы, градостроительный кодекс?.. Нет-нет, надо убирать... Будем убирать». А потом, через минутку, снова, но уже по-другому, зубодробительным звуком, точно нож правили на точильном камне: «Рая, завтра с родственниками твоими организуй встречу. И жене моей позвони. Или нет, не звони, сам, потом...»

Леня больше не мог подслушивать и обернулся.

— Ленчик! Приветик! Ты прям как бука, тебя мама выгнала из дому? Шучу, шучу... — Элеонора, топтавшаяся возле мужчины, бросающего в телефон резкости, присеменила к скамейке. Мужчина, продолжая разговаривать, оценивающе глянул на растрепанного, несчастного Леню и отвернулся.

Элеонора была немножко испугана. Ее дружок, очевидно, не знает, что она подслала гонца к его жене, подумалось Лене. Поэтому, наверное, с ходу и защебетала шепотом, пытаясь приглушить страх. А может, в ней просто образовалось какое-то злое вдохновение, которое она выплескивала, — Леня не понял.

— Не знаю, что и будет. Он орет второй день, никак не остановится. И жена-то так себе, никакая не красавица, ну ты ее видел. Чего тогда орет? Секретарша у него, Раечка, дура, но молодец, в моем случае, — на хвосте ему принесла печальную, хи-хи, новость... Теперь бросит свою мартышку, как думаешь? Не знаю, правда, где жить будем. Наверное, выселит ее? Как думаешь? Правда, дети... Райка ее увидела на Ленина, у театра. Что уж сама-то у театра делала? Стоят, целуются в подворотне. Ну и доложила... А мужик этот — архитектор какой-то, в Москве работал. Богатый, наверное... Как думаешь, богатый? Какой-то хлам в центре реставрирует, для себя, вроде. Точно, наверное, богатый, деньги девать некуда. А жена, по ходу, еще не знает, что ее подловили. Он ей специально не звонил. Сейчас домой поедет. Ну там будет!

Леня не перебивал. Он внимательно, с каким-то нехорошим предчувствием, смотрел в спину говорящему. Леня разглядел, наконец, возлюбленного своей возлюбленной: холеный прыщ. Чиновник, похожий на бытовую технику. На черный принтер, что стоит в деканате. Он всегда зажевывает бумагу.

Ни дорогой костюм, ни славная машинка «ауди», из которой возлюбленный вытащил стильные пакеты, ни его мужественное лицо, испорченное сейчас яростным и надменным выражением, не вызвали горячего отклика в душе отвергнутого воздыхателя. Леня даже растерялся. Всегда ожидал, что соперник зажжет в нем яркие чувства, такие, что можно будет бросить вызов. Но сейчас все возможные чувства затмило одно — подозрение.

Леня был философом и верил в стечение обстоятельств. Вернувшись домой и кура в форточку одну сигарету за другой, он остаток вечера

сводил в голове информацию, сортировал и расставлял все по полочкам. Предположим, женщина, которую он обидел грубым вмешательством в ее семейную жизнь, нашла себе кого-то, предположим, архитектора, который восстанавливает дом, и, предположим, этого архитектора зовут Марат... Только предположим. Но город-то, в общем, не такой уж и небольшой. А если вспомнить Вольтера, то случайностей не существует. Но зачем тогда он, Леня, об этом узнал? На кой? Что это — испытание, наказание? Или награда, может быть, — чтобы он закрыл вопрос со своей совестью?

Леня опять мучился. Что за судьба?! Всё какие-то мучительные вопросы и неразрешимые обстоятельства! Он порывался набрать известный ему номер несчастной жены, просить прощения. Но когда чужие лезут не в свои дела, это тоже плохо. А вдруг что-то произойдет — например, убийство?..

Наконец, отупевший от нахлынувших вопросов, он уложил уставшее тело в неразобранную кровать. Оно, облегченно вздохнув, уснуло.

Окончание в следующем номере.

